ИЗБРАННИК

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Павлуша полуидет-полубежит, не поспевая за большим, который несет под мышкой мяч, он не поспевает за его широким шагом, не замечает, куда его несут ноги, он смотрит на большого снизу вверх, что-то бесперебойно говорит ему, восторженно захлебываясь. Наконец, мяч опять на поле, Павлуша носится за мячом, не помня себя, вместе с большими мальчишками; беготня, взмыленный азарт продолжаются, пока не становится темно. По инерции он не пошел домой, а вбежал в дом, до предела запыхавшийся, все еще преисполненный восторга. Посмотрел на свои ладони и увидел, что они ровно грязные, кое-где только по краям ладоней отчетливо проступали белые линии, как бы годовые кольца — ободрано в этом месте; и на ровно грязных ладонях свеже, ярко размазанная кровь, разбил, наверно, губы или нос и руками провел по ним, даже ничего не заметив. Папа и мама дома, но он еще весь в футболе с большими мальчишками.

На стене дома, где они жили, соседка Танька раздавила паука-косиножку, Павлуша изо всех сил старался ей помешать, но безуспешно, он был такой маленький, а Танька уже ходила в школу; она даже надругалась над косиножкой, оторвала ему ножки и Павлуша смотрел, ревя, как эти слабые ножки-волосинки дергаются сами по себе; реветь в полный голос он начал только тогда, когда увидел, что косиножке уже ничем не помочь, а когда пихал, пытался оттащить Таньку, то только слезы были на глазах. Косиножка — не совсем паук, какой-то хилый, вялый, а настоящие пауки, например, крестовики, внушали ему животный ужас, священное омерзение; чуть менее ужасны были черные, очень проворные, неожиданно выскакивающие на нагретую солнцем доску, или очень быстро, криво убегающие куда-то по стене. Зато

крестовики сидели, как правило, в центре своей кристаллической паутины, а на черного паука можно было напороться где угодно.

Ему иногда снились страшные сны про пауков. А еще был коричневый цвет и буква «У» и цифра 8. Это были его любимый цвет, любимая буква и любимая цифра. И даже не то чтобы самыми любимыми, но самыми почему-то важными, самыми глубоко ощущаемыми. И он почему-то чувствовал какую-то связь между ними.

Жара, городская пыль, битое стекло, временами резко вспыхивающее на солнце. Они сидят на корточках у белой стены дома и мучат увеличительным стеклом гусеницу. Павлуша сидит на крышке люка, рядом с битым стеклом, и смотрит, как гусеница на земле изгибается и так и этак, то сворачивается, то разворачивается, то вытягивается — как потягивается со сна. Вид у нее совершенно непроницаемый, по ней не скажешь, что она страдает. Но Павлуша знает это. «Ребя, — говорит он, — кончай». Но его не слушают. Он берет гусеницу и швыряет ее куда-то вглубь газона, в кусты. Никто не протестует. Все опять думают, чем бы заняться. Внимание привлек самолет, пролетающий над ними и оставляющий в небе бананистый рубец — похоже на поверхность очищенного банана. «Как будто кто-то карандашом проводит», — замечает Славян. Все еще долго смотрят на небо, следя за удаляющимся самолетом.

Он стыдился своих толстых ляжек и поэтому даже летом ходил в длинных штанах. Бабушка пыталась заставить его ходить в шортах, но безуспешно. Он был довольно упитан, и лицо у него было как хорошая сдобная булка, но ляжки были и для него толстоваты. Летом его лицо блестело от загара, и глаза становились заметнее, а волосы выгорали.

Он дерется со своим лучшим другом, с которым он на летних каникулах проводил большую часть времени, и поэтому они порядком друг другу надоедали; не чувствуя ударов он изо всех сил бьет и бьет в то место, где сейчас предположительно находится

лицо противника; внезапно лучший друг приседает и начинает издавать что-то вроде тоненького сипения, которое, постепенно нарастая, переходит в рев. Он стоит, потрясенный; бледный, с колотящимся сердцем, задыхающийся. Он видит склоненную темную голову ревущего лучшего друга. Победа осталась за ним.

В пионерском лагере, в столовой Павлуша повздорил из-за компота с одним мрачным типом, основным в своей палате. Оба одновременно резко поднялись из-за стола — со скрежетом разъехались стулья, — подскочили друг к другу, и драка была готова вот-вот вспыхнуть. Но их тут же разняла оказавшаяся по близости воспитательница. Павлуша был рад этому, потому что мрачный, низко и сипло говорящий темнолицый тип был основным в своей палате не зря, с другой стороны он не струсил, так что честь его была спасена.

В садике Павлуша был лучшим, образцовым ребенком. Все воспитательницы его обожали, наверно, за послушность, за развитость; может быть, впрочем, и за что-то еще. Павлуша сам этого не замечал; когда он стал много старше, родители рассказывали, что воспитательницы его обожали. А в садике он не замечал этого, потому что относился к этому, наверно, как к должному. Воспитательниц он, однако, побаивался, особенно одну, пожилую. Та была строга; к нему много реже, чем к другим, но когда все-таки случалось, он прямо-таки цепенел от ужаса. Во время тихого часа он никогда не спал, регулярно отмучивался без сна. И однажды пожилая вдруг сдернула с него одеяло, и: «Ты почему не спишь?! А?!» Он цепенел. От ужаса он даже не видел ее лица, хотя оно было совсем близко, нависающее над ним, смотрящее прямо ему в глаза. «Ты почему не спишь?» Это был ужас. Даже обидеться он не посмел.

Он сидит за столом и с упоением делит трехзначные числа столбиком. Он совсем недавно постиг секрет деления. Субботний вечер, в квартире все убрано, вымыто. Мать на кухне. Иногда

слышен противный, но уютный визг открываемой-закрываемой духовки, мать готовит что-то вкусненькое. Он знает, что завтра не идти в школу — еще целая вечность блаженства!

Деление идет как по маслу. Вот он уже перерешал все, что сам себе наметил на сегодня. Некоторое время он сидит за столом просто так. Потом спокойный, просветленный, начинает раскладывать постель.

На новый год отец приносил елку, и Павлуша чуть ли не с визгом бросался ее смотреть. Потом участвовал в наряживании. Он не помнил себя от счастья. Особенно день-два после окончания второй четверти — впереди обожаемый Новый год и еще аж целые две недели каникул!

У них обычно собиралось много гостей. Гостей он обожал. До новогоднего застолья слонялся весь в праздничном возбуждении, предвкушении и не знал, чем бы себя занять, это было даже несколько томительно, хотя вместе с тем это была и упоительная томительность. А потом бахало шампанское, горели бенгальские огни, выключали свет и сидели при елочных огнях. Павлуша сидел среди взрослых, что ему очень нравилось. В Новый год его не загоняли спать, и они все вместе шли гулять в новогоднюю ночь. И все это время он знал, что зимние каникулы впереди! Иногда ему трудно было досидеть до гуляния, смаривал подлый сон. Но Павлуша никогда не покорялся ему, как бы ни хотел спать.

Со сном у него вообще происходило что-то странное: никогда он не засыпал сразу, валялся, ворочался час-полтора. Ему было никак не расстаться с днем. Не спал он и ни на каких тихих часах; у бабушки, которая укладывала его днем спать, он, изнывая, разглядывал коричневые занавески, сами по себе способные нагнать тоску, и ему казалось немыслимым, что этому изныванию придет конец.

Он хорошо терпел боль. Не орал, не ревел. С самого начала он был довольно болезненным, и часто оказывался в поликлинике, а

то и в больнице. И везде достойно переносил страдания, был примером.

Все это он знал по рассказам родителей. И ничего подобного в себе потом не замечал. Скорее наоборот.

Он считал себя гением. Даже не считал - был убежден. И если бы его спросили, почему он считает себя гением, он бы ответил: «Как почему? Это же я!» Он, конечно, никому бы так не сказал, — он понимал, что гений — это тот, кто сделал, создал что-то гениальное. Но ему самому никаких доказательств своей гениальности не требовалось. Он и так знал.

Он был развитым ребенком. Отец много ему читал. Например, уже во втором классе он знал «Маленькие трагедии». Особенно сильное впечатление произвели «Моцарт и Сальери» и «Скупой рыцарь». По поводу «Моцарта и Сальери» он думал, точнее, чувствовал, что настоящий гений — это Сальери, а не Моцарт. Что этот дурачок Моцарт мог з н а т ь? А Сальери… Это другое дело.

Он восхищался гениальностью Скупого Рыцаря. Не только «Скупого рыцаря», но и Скупого Рыцаря.

Сам же он читал Майн-Рида, Джека Лондона, Конан-Дойля. Он знал, что он пока маленький и поэтому здесь нет ничего для него неподобающего.

Павлушин отец был математиком. И классе во втором Павлуша стал самостоятельно заниматься математикой. Точнее, вместе с отцом, но инициатива исходила от него. Может быть, ему не терпелось проявить свою гениальность? Может быть, и из-за этого. Но было и другое: отец постоянно занимался математикой с кем-нибудь из родственников, знакомых, и то была в ы с ш а я математика, и слова «дифференциал», «интеграл» казались ему в ы с ш и м и. Он хотел, жаждал достичь в ы с о т ы. И одним из самых больших, в ы с ш и х наслаждений для него было взять какой-

нибудь из томов трехтомника Г.М.Фихтенгольца «Курс дифференциального и интегрального исчисления» и листать его подряд, вчитываться в названия глав, повторяя их про себя, разглядывать формулы; ничего он, разумеется, не понимал, но у него буквально захватывало дух, как от настоящей, физической высоты. И он торопил время и усиленно занимался математикой, и конечно, его программа была гораздо углубленнее и расширеннее, чем школьная, и вещами он занимался теми, которые проходят на четыре-пять лет позже. Так что он был немножко вундеркинд. В школе по математике у него были пятерки. По другим предметам — четверки-пятерки. Учителя относились к нему хорошо.

Девочкам Павлуша нравился. В больницах, например, его часто, охотно звали на дни рожденья, на еще какие-нибудь смешанные сборища. Временами там проходила эпидемия обмена амурными записками, и Павлуша никогда не был обойден вниманием. Ему льстило, что он нравится девочкам. Но он был застенчив с ними. И на записки отвечал с бессознательной целью, чтобы следующей записки не последовало. Его товарищи над ним подсмеивались — эх, ты, лопух, не упускай момента. Чем он становился старше, тем насмешливее становились насмешки и тем на менее невинные вещи намекали. Павлуша понимал, что лопух, но как-то все… Любовную переписку он старался приглушить. И ему это без особого труда удавалось. А девочки по-прежнему относились к нему с симпатией и приглашали на дни рождения.

Была такая Наташа Медведева. Она затеяла с ним переписку. Павлуша, как всегда, неопределенностью и вялостью ответов постарался постепенно свести переписку на нет. И свел, гораздо быстрее, чем ожидал. Да ты что, она ж в тебя втрескалась по уши, давай, чего ты! говорили его товарищи. И Павлуша как-то понял, что в записках Наташи Медведевой было нечто такое, чего не было в предыдущих записках. И еще он узнал, что Наташа вроде бы обиделась. И друзья тоже как будто на что-то обиделись. Он почувствовал, что сделал что-то не так. Как-то даже

забеспокоился. Вообще-то Наташа ему нравилась… Дней через десять он узнал, что она переписывается с Витькой из восьмой палаты. И, совершенно неожиданно для себя, воспринял эту новость как неприятную. Потом он видел Наташу с Витькой. И что-то не очень сильно, но вполне определенно резануло его. И он сказал про себя что-то вроде: «Ну и пожалуйста!»

Он сидит на дворе, за деревянным столом и режется в дурака. Довольно поздно, но уже близко белые ночи, и долго светло. Он рад до смерти, когда не остается дураком. А когда остается, ему жутко обидно. Наверно, часов с двух дня они сидят, с самого послеобеда. Мать еле оторвала его на ужин, там он молча впихивал в себя еду, не замечая, что ест, отвечая на все в стиле «угу».

Наконец мать еле отдирает его от стола, потому что пора спать; это уже после того, как он два раза выторговывал себе сначала пятнадцать, а потом десять минут игры. «Ну мама, ну еще немножко, ну?!» Но и терпению доброй мамы приходит конец. С чувством глубокой обиды на жестокость этого мира он покоряется судьбе. И долго не может заснуть, вновь и вновь разыгрывая самые яркие баталии.

Тогда они еще жили за чертой города, в поселке городского типа, в доме без всяких удобств. Потом, когда Павлуша был в третьем классе, им дали квартиру в пригороде. Уже в этой квартире Павлуша принялся быть математиком и вундеркиндом. Но летом он любил приезжать на свое старое место, к своим старым друзьям, продолжающим жить в том же доме. Остановиться было где. Сразу с электрички он бежал к старым друзьям. Кто-нибудь из них обязательно оказывался дома, и они шли искать остальных. Время они проводили отлично: трепались, слонялись, играли в карты; везде — рядом с его бывшим домом, на картофельных огородах, на покрытых толем погребах, хоть их оттуда гоняли, в лесу, в кювете у железной дороги — иногда они, кстати, катались на товарняках, интересное, порой захватывающее развлечение. Ночи были теплыми, светлыми, ярко, даже весело светила луна, можно было забраться в

сад за яблоками — например, к Семенихе, хотя страшно, если она поймает, но зато тем восторженнее рассказы о только что проведенной операции, когда они уже в безопасном месте чередовали яблоки с куревом. Таскали у Семенихи и ревень, называя его, кажется, ревель; Павлуше он не сильно нравился, во всяком случае не настолько, чтобы подвергаться риску быть схваченным слегка двинутой Семенихой, но, впрочем, и ревень с «Примой» или «Бородином» был вполне хорош, и «дурак» или «бура» шли под него тоже отлично, а в лесу было великолепно, сухо, лес был их дом родной; возбужденный, счастливый он возвращался домой, и луна очень весело освещала ему дорогу.

Павлуша лежит на кровати в своей комнате. Новый год в разгаре, из другой комнаты доносятся разговоры, смех, сигаретный дым. На другой кровати, что напротив него, шубы навалены одна на другую, на вешалке всем места не хватило. Сейчас все что-то допьют там, доедят и выйдут в новогоднюю ночь. Но он останется здесь. Минут десять назад он сидел за столом, жег бенгальские огни, уплетал великолепный рыбный салат, участвовал вместе со всеми в новогоднем веселье, но потом вдруг внутри него все стало как-то чернеть, чернеть, чернеть. Незаметно он выбрался из-за стола и теперь лежит на своей кровати, под большими ходиками, вывезенными еще из того дома, смотрит на эти шубы.

Посреди шумного веселья он внезапно вспомнил, что умрет. Ночью бывало хуже: он уже почти засыпал, когда эта мысль могучим, внезапным ударом мгновенно выбрасывала его из сна, и он лежал, таращась в темноту, слушая, как оглушительно колотится сердце, приходя в себя после пережитого ужаса; и вдруг новая волна его же, и он был уже не в состоянии оставаться в постели, хотелось рвануться, вырваться из себя, но это невозможно, он пойман в себе раз и навсегда, погребен заживо. Он садился в постели, пытаясь успокоиться; контуры вещей, таких знакомых, домашних начинали проступать, и где-то наверху мирно работает телевизор, очень благопристойный — какая еще там смерть? голос дикторши; слышно, как кто-то наверху спустил воду в туалете;

проступала жизнь, понемногу вытесняя только что пережитое, невозможное, безумное, чудовищное.

А сейчас он лежал как холоднокровное, оставленное без тепла, медленно остывая. Ужаса не было. Вялость, сонливость, остывание. Было уже поздно. Новогодняя елка, новогодний снег, черт с ними. Вот в прихожей зараздавались галантные мужские голоса, вот одна из гостей, быстро улыбнувшись ему, легонько прошмыгнула взять свою шубу. Появилась мать. «Павлуша, ты что, не идешь?» — «Да не, спать что-то охота» — «Да? Ну тогда ложись». Удивленно, с некоторым внутренним сомнением. Чуть постояла, приглядываясь к нему. «Ложись». Уже довольно уверенно, решив, что все, похоже, нормально, пошла одеваться. Они ушли. Он слышал их голоса на площадке, загудел лифт, голоса разом стали глуше, быстро укатили. Он еще немного полежал один. Потом разобрал постель и лег спать.

Они жили еще там. Павлуша прознал, что в соседнем доме кто-то умер. Как-то незаметно для себя выведал, когда похороны. Он стоял серьезно в толпе, иногда потихоньку перемещаясь, поближе к гробу. Народу было много, а двор был мал. Наконец Павлуша увидел покойника. Он готовил себя к этому, и при взгляде на его лицо лишь чуть-чуть взял себя в руки. Лоб у покойника показался ему липким, как будто даже вспотевшим. Покойницкая испарина. Покойника он видел в первый раз. Еще ему почему-то запомнились его ресницы — черные, длинные, какие-то неожиданно очень немертвые, свежие. А вообще так себе, ничего особенного. Вдруг ударил оркестр. Тут он побежал.

Они с бабушкой бродят по заброшенному кладбищу. Непонятно, как они здесь оказались. Наверно, гуляли и как-то загуляли сюда. И, кажется, не в первый уже раз они здесь. Кладбище очень старое, оно почти уже не кладбище, а неровный, бугристый пустырь. Кое-где буйный сорняк, а так земля почти голая, полынь иногда. Каждый бугор мог оказаться могилой, он это знал. Много где оград уже не было, а которые были, уже были похожи на

плохонький металлолом. Покосившиеся так и этак кресты. В основном железные, черные, имен уже не прочитать. Изогнутые черные железяки попадаются под ногами. Он знал, что они были когда-то частью креста. Бессознательный ужас внушала ему одна могила: ограда почти цела, но креста нет, может, остался холмик, но туда он не заглядывал; и огромное старое разросшееся дерево растет из этой ограды, с обилием ветвей, вернее, уже стволов на главном стволе, с буйной, массивной кроной. Когда-то на могилу посадили *деревце*, но вот могилы уже нет, а деревце росло, разрасталось и превратилось в огромное деревище, продолжающее безобразно, безбожно разрастаться, как дикое мясо. Что-то в этом было ужасное для него. Бабушка, а сейчас здесь хоронят кого-нибудь? спрашивал он. Да нет, уже не хоронят, отвечала бабушка. А может, кто знает, иногда и хоронят. Он оглядывался на все это кладбище-пустырь. Казалось, оно расположено вне *всего*. Он не помнил дороги сюда, не помнил дороги назад. Или ты здесь, или во всем остальном мире. И он почему-то смутно боялся, что бабушка вот-вот куда-то исчезнет, оставив его одного. И она становилась задумчива, как будто окутана какой-то дымкой. Они разбредались по кладбищу, но то и дело что-то толкало его резко оглянуться, проверить на месте ли она. В начинающихся сумерках он не сразу видел ее. Успокаивался и опять бродил.

По одной стороне кладбища проходит ровная желтая стена. Один раз он пробовал идти вдоль нее, но стена все не кончалась. Он побоялся потерять бабушку и вернулся. Он как-то все забывал спросить, что это за стена. Правда, бабушка могла и не знать.

Павлуша стоит на летней, пыльной дороге. От кладбища он отошел уже довольно далеко. Но сейчас остановился и стал, глядя в сторону кладбища. Его уже было не видать за листвой, только два крайние креста серебрились своей кладбищенской серебристостью. Было тихо. До шоссе было еще далеко, и машин почти не было слышно. Он стоял один.

Три дня назад Павлуша читал книжку одного писателя, одного из самых его любимых. Это была не художественная книжка, а

воспоминания. Написана она была легко, с юмором; он кайфовал с ней на диване, он знал автора по предыдущим книгам, и до конца этой, которую он сейчас читал, оставалось еще много; он неспешно читал, заодно предвкушая чтение еще не прочитанных страниц, этот автор ни разу его не подводил. И вдруг… Павлуша вдруг перестал понимать, что происходит, куда девался знакомый любимый рассказчик, ведь только что все было так мило? У автора умерла дочь. Вернее, она сначала только заболела; потом, увидев, что все вдруг пошло как-то не так, Павлуша бросил читать подряд и начал проглядывать, и постепенно убеждался, что дочь умирает, и страшная догадка уже созрела, догадка, что она ведь умрет; всему этому было посвящено не слишком много страниц, и он очень быстро понял, что так оно и есть, она умрет. Он не хотел понимать того, что прочитывалось, и действительно, понимал с каким-то трудом, даже некоторые слова приходилось прочитывать по два раза, глаза перестали слушаться, и нигде не было сказано недвусмысленно «она умерла», но все было ясно и так, и последняя фраза была «отнесли ее… нашу гордость, наше сокровище». Зачем любимый Марк Твен написал это? И даже нельзя сказать ему, чтобы исправил, сделал хороший конец — он давно умер, а самое главное, так было на самом деле, ведь это были воспоминания. И эта перемена стиля, показавшаяся ему кошмарной — не сыщешь никакого юмора, серьезный, трагический тон, жестокое описание последовательности событий. Даже Марк Твен перестает быть юмористом, когда у него умирает дочь. Именно это его поразило. От н е е нет спасения. Даже у Марка Твена, который никогда не выдаст, защитит своими книгами, своим светом.

А может быть, причина была и не в этом. Павлуша ведь и до этого читал про смерти тысячу раз. Но почему-то именно эта смерть его поразила, непонятно, почему именно она, но он несколько дней был как больной. И в один из этих дней он оказался на кладбище и теперь стоял один на пыльной дороге. Вдруг он вспомнил конец фразы «нашу гордость, наше сокровище» и твердую, беспощадную точку после нее, и то, что после этой фразы речь стала идти уже о другом; все это он вспомнил спрессованным

в одно невыносимое ощущение и, потеряв вдруг рассудок, бросился бежать что было сил, прочь от кладбища.

Вообще, Павлушу почему-то тянуло к кладбищам. Родители, наверно, слегка беспокоились, видя эту склонность, но в остальном все с ним было нормально, да и нельзя было сказать, что он только и делал, что шатался по кладбищам. Но он порой захаживал туда. Он как будто инспектировал могилы; с пристрастием вглядывался в каждую, изучал лицо умершего — пытался прочесть его жизнь? обстоятельства смерти? но главное — годы жизни. Он откуда-то усвоил, что человек должен прожить по крайней мере семьдесят лет, и если, быстро вычтя две даты, он получал число большее семидесяти, то это приносило ему своего рода удовлетворение, если меньшее — неудовлетворенность, какое-то свербение в душе. Жили, в основном, лет по пятьдесят с небольшим. Женщины, кажется, подольше — под шестьдесят. В общем, дела обстояли неважно. Но были и те, кто жил по тридцать восемь, по двадцать четыре, по семнадцать, по пять. Он задерживался у таких могил. И продолжительность жизни пересчитывал по два-три раза, но уже с первого получал правильную — считал он хорошо. «Любимому Сереже от родителей». Непонятно, зачем он так долго стоял перед этой могилой, получив небольшую цифру шесть, разглядывая эту надпись, разглядывая детскую лопоухую фотографию, цветы, принесенные к могиле, не успевшие еще увянуть. Он хотел вместить в себя всю чудовищность произошедшего. Вернее, одна его половина хотела, другая сопротивлялась. И он тупо стоял, не мог как следует, с головой, окунуться в ужас, но не мог и уйти. Как это произошло?! Кто допустил?! Что, неужели это не могло т о г д а кончиться по-другому, не так, как кончилось — с этим «Любимому Сереже от родителей», с этой фотографией, в которой он в совершенно обычной, д о м а ш н е й рубашке, с этой оградой, с этой каменной тумбой, с этими дурацкими цветами? Что же все-таки тогда произошло, тогда, дата указана — та, из которой вычитаешь? Что произошло, почему? Что предшествовало этому? Он должен

разобраться, он не может оставить такое просто так! Ну и что, что этими разбирательствами ничего не поправишь, я не для этого разбираюсь, мне надо разобраться, и все! Павлуша не думал так. Но он так чувствовал.

Он что, хотел извлечь какой-то урок? Чтобы это больше никогда не повторилось? Да, ему надо было понять, отчего так происходит, подумать как следует, и сделать так, чтобы этого больше никогда не происходило. А таких могил было много. Ирочка Жукова, семнадцать лет. Из больших девчонок, в жизни бы он считал ее б о л ь ш о й . Но здесь она была для него девчонкой.

Еще было много надписей «Трагически погиб». Тоже остановка. Тоже попытка отгадать, угадать. Какая-то очередная жестокость, безобразие, бесчеловечность.

Наверно, уже тогда это вошло в него:

Смерти нет. Есть убийство. И каждый человек — «трагически погиб».

Он как будто чувствовал себя посланником всех их, безвозвратно, бесследно, бессмысленно загубленных. Он послан сюда от них, чтобы сказать за них какое-то слово, то, которое они сказать не смогли.

Один раз он встретил такую надпись: «Прохожий астановись. У души моей помолись. Бог бережет мой прах. Я дома, ты в гостях». Его поразило это «астановись». Сколько там было народу? Что, ни один не знал, как пишется это слово? И он как будто угадывал в этом «астановись», в этих истеричных, безграмотных виршах какой-то тайный, глубокий, бесстыжий смысл; ужас смерти и безобразие, бесстыжесть были как-то связаны между собой.

Еще он видел имя «Пётор». Это его уже позабавило.

А вот что его чуть ли не рассмешило: «Танцуйте пойте что хотите, но берегите нашу Родину, пылинки сдувайте с нашей родной Советской земли».

Он знал, как пройти через их кладбище — порядком разросшееся — к тому участку, где хоронят и сейчас, где появляются свежие могилы. Один раз он вышел туда, побродил и наткнулся на могилу, которая возникла неделю назад. Совсем

рядом, почти сейчас. Земля на могиле была совсем свежая, влажная. Он не заметил, что у могилы сидит старуха и вздрогнул, когда увидел, что она смотрит на него. Он запомнил старухины свежезаплаканные глаза, запомнил свежесть могильной земли, свежесть новой черной ленты на венке. Он постарался не понять, с каким выражением смотрела на него старуха (хотя вряд ли ей было до него) и сразу же пошел прочь.

Как-то раз с матерью он очутился на польском кладбище. Запомнились огромные деревья и огромные каменные католические кресты, без второй, косой перекладины. Католические кресты ему понравились больше. Они были массивны, величественны. Какой-то сдержанный пафос угадывал он в них, негромкий, но полный скрытой мощи. Они долго прогуливались по кладбищу среди огромных, величественных деревьев, огромных, величественных крестов. Стояло лето, и чувствовалась предгрозовая духота. Потом загудело в вершинах деревьев, поднялась пыль, упали первые крупные капли. Они поспешно ушли.

После прогулок по кладбищам Павлуша часто делился с родителями пережитыми ощущениями. Самыми главными, глубокими и сильными ощущениями он, впрочем, не делился, да и выразить их он не смог бы, даже самому себе. Но любил приставать: «Папа, представляешь, что я видел: прохожий, астановись. Через «а». Астановись». Он заглядывал в лицо, торопился смеяться. Как будто самого себя хотел убедить в том, что «астановись», «Пётор» — это самое главное из того, что он там видел, из того, что он там чувствовал.

У него часто случались периоды беспричинной хандры. Не всегда, впрочем, беспричинной, часто хандра была вызвана мыслями о неизбежности смерти. Но часто бывало, что и смерть была, вроде, не при чем. Непонятно, откуда эта хандра бралась. Периоды длились несколько дней, иногда недель. Потом постепенно, незаметно проходили.

Павлуша уже опросил почти всех своих знакомых, любого

возраста, не бывает ли им страшно от того, что они когда-нибудь умрут. Почти все отвечали, что бывает. Видно было, что эта проблема ни для кого не нова. Каждый раз в таких случаях он испытывал облегчение: если всем страшно, то значит мне не так уж страшно. Главное, я не один.

Он ненавидел болезни. Страстно, неистово. Он ненавидел болезни, как ненавидят людей.

Солнце, воздух и вода… Родители отправили Павлушу в пионерский лагерь, в Евпаторию. У него был хронический тонзиллит (вечно болело горло), поэтому его и отправили в пионерский лагерь лечиться, всякими грязями, электропроцедурами; заодно и доучиваться последнюю четверть.

Павлуша заканчивал пятый класс и считал себя очень большим, почти взрослым. Вернее, он знал, что для кое-чего маловат — например, чтобы ходить на работу или иметь семью, но это было не главное, в главном же — в понимании он уверенно считал себя умнее всех взрослых. Привычно побаивался их, точнее, признавал их «социальное» превосходство, но поглядывал снисходительно. Он уже прилично знал Толстого, Чехова, Тургенева. Его, разумеется, потрясла «Смерть Ивана Ильича». «Палата №6»… тоже потрясла. Вот Достоевского он оценил гораздо позднее. Зато уж оценил так оценил.

Он, однако, не отказывался и от Конан-Дойля. Видимо, это все еще было для него не зазорно. Отчего и не доставить себе маленькое, да и не такое уж маленькое удовольствие, если это еще вполне позволительно. Вероятно, он рассуждал именно так, незаметно для самого себя. Павлуша был развитым мальчиком, даже отчасти вундеркиндом, и, общаясь со взрослыми, бывал слегка нахален. Впрочем, очень редко, ведь его очень хорошо воспитывали. На родительских собраниях его неизменно хвалили. Со сверстниками у него тоже были прекрасные отношения. В их мальчишеском мире очень многое, если даже не главное, определялось тем, кто кому «даст». В их классе Павлуше давал

только один — здоровила, — еще с двумя он был «наравне». Возможно, в классе были и другие мнения, но он держался исходя из этого, — что давалось ему без малейшего труда, — а значит и вправду дела обстояли именно так. Одним из первых в классе он был и по подтягиванию, и по отжиманию, и по бегу. Правда, некоторые из физкультурных упражнений ему совершенно не давались. Поднять что-нибудь, нажать, пробежать, прыгнуть — это пожалуйста. А в гимнастических упражнениях, например, он был чудовищно, абсолютно беспомощен. Но в целом Павлуша был почти «гармонической личностью». И он не мог не замечать, что в классе он по математике первый, по драке, по физкультуре — один из первых. Его настоящее было прекрасно, а будущее — конечно же, еще прекраснее. Свое будущее Павлуша связывал с математикой. Он будет Ученым. Это как-то само собой подразумевалось.

Дни начинались ясно и ясно заканчивались. Павлуша гордился собой. А страхи смерти, хандра как-то затерялись.

Но первые дни в городе-курорте, у зеленого моря, в белых корпусах пионерского лагеря неожиданно стали для него испытанием. Он страшно тосковал по дому. Собственно, уже месяца за два он знал, что поедет в лагерь, но не придавал этому ровно никакого значения; ходил, как обычно, в школу, на некоторых уроках — на которых можно — балдел, на переменах играл в футбол стирательной резинкой, все как всегда. И вдруг неожиданно очутился в этой самой Евпатории. Первые дни не мог ни на что смотреть, даже ходил с трудом, и слезы то и дело наворачивались на глаза. Тихонько ревел по ночам. И все мама вспоминалась ему. Интересно, что папа значил для него куда больше — с ним он жарко, жадно обсуждал прочитанное, с любым вопросом бежал к нему — и наперед знал, что вернется не с пустыми руками — папа все расставит по своим местам; он обожал и преклонялся перед своим умным, сильным, благородным отцом. Но сейчас, один-одинешенек, среди ночного храпения, сопения товарищей по палате, перед глазами стоял образ мамы. Он видел, как она грустно улыбнулась ему напоследок в окно поезда, из темноты. И как только видел это, слезы было не остановить. Правда, как он заметил, многие

такие же вновь прибывшие были не в меньшей тоске. Почти сразу же он начал считать дни — сколько еще их осталось. Его накрывала жуть, когда он думал сколько — около шестидесяти.

Но потом ничего, расходился. Жизнь брала свое. Чуть не подрался с низко, сипло говорящим типом в столовой. Этот тип уже успел приобрести некоторую известность — поставил на место пару салаг. И очень просто первым бил по морде — человек серьезный. И так просто эта история в столовой не кончилась — тип вызвал Павлушу на драку. В туалете, в вечернее время, чтоб не было помех. Весь день Павлуша ходил сам не свой, с тоской думая о предстоящей драке. Сиплого типа он боялся. Он знал таких — нервы у них крепкие, а в драке это главное. Слава богу, хоть весовые категории у них одинаковые. Но драка прошла вничью. Павлуша как-то сумел взять себя в руки, и, главные силы бросив на то, чтобы не зареветь (мгновенное, автоматическое поражение), все-таки и кулаками махал довольно ловко — старался попасть по морде, а не просто махнуть, и от ног уворачивался довольно успешно, успев сам несколько раз удачно, крепко так лягнуть. Это и обеспечило ничью. Просто махать кулаками, ожидая, кто первый разревется, здесь было нельзя — тип просто расквасил бы ему физиономию, а не разревелся бы он никогда. Павлуша знал все это и к драке подошел серьезно и ответственно, как к олимпиаде по математике — бьешь, так бей что есть мочи, старайся попасть по морде, видишь, что на тебя летит кулак, не цепеней, уворачивайся, брось все силы на причинение врагу как можно больше физических повреждений. Он не помнил, как кончилась драка, он ничего не помнил, он только знал, что пока ничья. И сейчас главное не разреветься — поражение после самой драки. Это было бы просто невыносимо. У него подергивалось лицо, он не мог говорить — тогда точно разревешься, дышал с явным всхлипом. Но он почти сразу же пошел умываться, кривя рожу, якобы презрительно, долго плескал в нее водой, долго терзал ее заботливо поданным полотенцем (у него уже оказались свои болельщики), знал, что продержаться надо буквально три минуты — и все, уже не заревешь. Все. Ничья.

Слух о драке распространился быстро. Первенствовать Павлуше было ни к чему — главное быть равным среди равных. И он стал им. Даже поравней среднего — с приличным запасом. Правда, пришлось еще потолкаться с одним кентом — из его же собственной палаты, но там обошлось без драки, разошлись мирно, каждый не уронив своего достоинства. Потом Павлуша даже сдружился с ним. Кент, оказался, в сущности, добродушным, любил только повыступать. А с тем типом у Павлуши установилась ровная, холодная враждебность, в поступки, впрочем, не выливающаяся.

А время шло. И шло преотлично. Мало-помалу тоска по дому прошла, он даже и забыл, когда бросил считать дни. Учеба здесь была облегченной, домашних заданий не задавали. Особенно хорошо было во второй половине дня — играли на улице. Павлуша здорово наловчился играть в «пионербол»; когда приехал, умел едва-едва, а тут стал вполне достойным членом сообщества пионерболистов. Играли по много часов, с азартом; Павлуша с не меньшим, чем другие, если не с большим, не жалея, что называется, себя; рассаженные локти, колени, все было нипочем — лишь бы победа осталась за нами. По ночам было тоже отлично. Балдели — кидались, например, подушками, мгновенно притворяясь спящими при звуке воспитательских шагов, рассказывали анекдоты, истории — кто какие знал. Павлуша знал много вычитанных историй, и слово часто предоставлялось ему; когда он рассказывал, в классе, точнее в палате, стояла идеальная тишина. Иногда засиживались, точнее залеживались до поздней ночи; устав говорить, смотрели через большое, почти во всю стену, окно на море, на луну, на лунную дорожку. Все смотрели на ночное лунное море, и казалось, все чувствовали одно и то же. Славные это были минуты. Может, и не хуже пионербола.

Был пионервожатый Костя, которого все очень любили. Он был и самбист, и волейболист, и шахматист и любил возиться с ними. Он готовился поступать в вуз, но, наверно, его подлинным призванием была его временная подработка. С ним было всем интересно, и чуть ли не каждый имел к нему какое-нибудь дело. Павлуша тоже очень привязался к Косте. Даже слегка ревновал его

к другим: ему казалось, что *ему*, по его достоинствам, Костя уделяет недостаточно много внимания, не выказывает предпочтения.

Была амурно-записочная эпидемия, в которой Павлуша принял лишь вялое участие. Пионербол ему нравился явно больше. Была дерзкая вылазка в девчонские палаты — мазать девчонок зубной пастой. Павлуша тоже принял участие — а то получилось бы, что он струсил, но никого не измазал. Это было для него чересчур — как бы шутка, но уж больно она граничила с пакостью. А потом до него как-то просочилось, что девчонкам нравится, когда их мажут пастой, точнее, не нравится, когда не мажут — значит мальчики не проявляют интереса. Если бы он знал тогда это, то, наверно, уж сделал бы какой-нибудь девочке приятное. А на обратном пути двоих застукала воспиталка. Был даже некоторый скандал, тех двоих чуть не вытурили из лагеря. Но товарищей они не выдали.

Один раз, как всегда, Павлуша возвратился с пионербола веселый и довольный. Заигрались в этот раз допоздна, и почти сразу же последовал отбой. Павлуша лег и готовился отойти ко сну. Заснуть сразу он, по своему обыкновению, не мог, просто лежал. В палате все уже спали, утомленные кто чем. Как вдруг он почувствовал, что его сердце, ни с того, ни с сего, начало убыстрять свой ход, убыстряет, убыстряет, его удары все чаще, вот они сливаются в сплошное тарахтенье. Что это? Он сел в постели. Темнота, звон в ушах, мирное, далекое посапывание с соседней кровати. Было очень страшно. К сердцу он старался не прислушиваться, но чувствовал, что оно не успокаивается, а может быть, и наоборот. Он вылез из постели и, не одеваясь, пошел к дежурной медсестре, сгорбившись, прижав руки к груди, как будто боясь не донести свое сердце. «Сердце колотится», — сказал он медсестре, и сразу же почувствовал, что во рту у него пересохло; он стоял в ее комнате в трусах и в майке, дрожащий, покрывшийся гусиной кожей, щурясь от света; тяжело дыша, никак было не отдышаться. Медсестра не испугалась. «А ты бледный», — сказала она. «Сейчас, подожди». Звук льющейся воды, какая-то медицинская, поликлиничная возня; он держит в руках мензурку, от которой расходится едкий, смутно знакомый запах. Он жадно

глотает эту противную воду вместе с воздухом. И почти сразу же чувствует, что сердце уже не тарахтит. Оно чинно, мирно, мерно идет, как ему и положено. Он пошел назад в палату. Страха, вроде, не было. «Скажи завтра врачу», — сказала медсестра.

Но когда он лег опять, он понял, что заснуть не сможет. Ему было страшно спать. А вдруг заснешь и не проснешься? Даже просто лежать с закрытыми глазами было страшно.

Он лежал, медленно обводя взглядом палату. Все спали. Иногда он зачем-то вглядывался то в одно спящее лицо, то в другое. Как далеки они сейчас от него! И как спокойны. И только он не смеет заснуть.

Вдруг ему показалось, что сердце опять начинает колотиться; может, оно и начинало, а может и нет, но только от страха оно всегда колотится, и он опять пошел за каплями. Вернулся несколько успокоенный. И опять лежал с открытыми глазами. Сон его не смаривал, а заснуть он боялся.

Ночь длилась бесконечно. Он вылез из кровати и отправился бродить по холлу. Он медленно ступал босыми ногами по ковру, темно-бордовому при ночном свете. Пианино, телевизор, диван, кресла. Двери в палаты. Мозги работали замедленно. Днем здесь всегда оживленно. А сейчас все вымерло, и он не узнавал холл, он не знал, что он может вдруг стать таким — совершенно отстраненным, чужим, даже враждебным. Оборотень. Что-то такое угадывалось в нем, и повеивало жутью. Когда же этой ночи придет конец!

И опять ему показалось, что у него колотится сердце. Медсестры не было в своей комнате, немного подумав, он пошел за ней на следующий этаж. Босыми ногами ступать по каменной лестнице было холодно. Он с трудом разыскал медсестру, она спала в какой-то своей каморке. Недовольно ворча сходила за каплями. Он опять их выпил и поплелся назад. Его уже слегка мутило от капель.

А наутро Павлуша открыл глаза и мгновенно обрадовался — ночь каким-то чудом все-таки миновала! Пошел день как день, он мало-помалу расходился, включился в него, и та ночь стала

понемногу отодвигаться, становиться даже как бы несуществующей — Павлуша очень ей в этом помогал. Но он вдруг стал ощущать, что его сердце бьется как-то не так. Вдруг остановится, замрет, и вдруг резко стукнет. Не так сильно, чтобы напугать, но ощутимо. А раньше он не ощущал, как бьется его сердце, если, конечно, перед этим не бежал бегом. И стукало оно как-то очень противно — как будто присасывалось к той стороне груди, как присоска, а потом вдруг, чуть ли не со слышимым чмоканьем, отставало. Трудно было к нему не прислушиваться. Павлуша, как и собирался, показался врачу. Та послушала его и успокоила: это возрастное. Ты растешь, а сердце за тобой не поспевает. Ты не бойся. Павлуша был успокоен.

Между тем до отъезда из лагеря оставались считанные дни. Все ходили в предотъездном состоянии, торжественном и немного грустном. Павлуше тоже было грустно уезжать, несмотря на скорую встречу с родным домом, с родителями, по которым он так соскучился; несмотря на предстоящие необъятные летние каникулы. Эти два месяца пролетели пулей. А как он тосковал, когда только приехал сюда!

Зачем-то устроили всеобщее собрание, где обсуждали каждого — насколько он понравился своим товарищам. К радости и изумлению Павлуши, он оказался чуть ли не лучше всех — то есть всем нравился, а про «недостатки» никто не говорил. Его изумляло, как люди, которых он едва знал, как-то даже торопились, активно желали высказать, как хорошо они к нему относятся, вообще, какой он хороший, и из других палат, и даже девчонки — с ними-то контактов практически не было. Что ж, Павлуша был очень польщен.

Гуд бай, май лав, гуд бай! Состоялась прощальная дискотека. Павлуша стоял у стены, среди нетанцующих и слушал эту песню. Ему она очень нравилась. И она была о прощанье, очень в унисон его настроению. К грусти примешивалась какая-то обволакивающая сладость… А для него тогда за прощаньем обязательно следовала встреча, и эта встреча была гораздо более нужна, важна, прекрасна, чем то, что он оставлял. Прошлого немного жаль, но лучшее, конечно, впереди. Отдавшись этой сладостной грусти,

слушая песню, он стоял у стены, а они танцевали.

Вдруг его пригласили на танец. Вот тебе раз! Павлуша, конечно, отродясь не танцевал, потому что, конечно, боялся показаться смешным, но и отказаться было как-то очень уж неудобно. Белый танец, черт бы его побрал! Он пошел на то место, где танцуют. Ладно, в конце концов это лучше, чем быть вызванным на драку. Он понял, что надо терпеть, в том числе и смех, отступать некуда. Он обнял свою партнершу за талию и начал медленно, плавно топтаться, стараясь как можно лучше, похожее подражать окружающим. Танец длился долго, но все-таки имел конец. Он пошел назад, на свое место, понимая, что главное пройдено. Теперь главное не растянуться в каком-нибудь метре до финиша — и порядок. На своем месте он оклемался и даже решил, что ему даже, пожалуй, понравилось. В этом что-то было. Ему чуть ли не захотелось танцевать еще. Но, слегка подумав, он решил, что, пожалуй, все-таки хватит.

Состоялась встреча с домом, с родителями. Павлуша был им безумно рад. Все рассказывал, как было в лагере. Стояла отличная погода, много играли с отцом в волейбол, разговаривали. И друзья… Впереди были бесконечные летние каникулы — дух захватывало при мысли, сколько удовольствий они сулили. Наверно, то лето, после пятого класса, было пиком Павлушиного счастья. Только счастья этого было — несколько дней.

Сердечный приступ повторился. И все было так же, как тогда — ночь, страх, едкие капли, сердце, которое сейчас, кажется, выскочит. Только вместо медсестры были родители. Это было и лучше, но, с другой стороны, и хуже — они здесь, рядом с ним, но ничем не могут ему помочь. Можно дотронуться до них, но каждый наглухо, навсегда задраен в свой скафандр; это будет только прикосновением скафандров. Наверно, в первый раз Павлуша ясно понял это. И еще: родители не могут ему помочь — в п е р в ы й р а з . До этого такого не было. От присутствия родителей было не страшнее (как раз наоборот), но: безнадежнее, серьезнее, в з р о с л е е . В первый раз он, наверно, понял, что такое селяви.

Во всяком случае, хоть каким-то краем коснулся. Приехала скорая, ему сделали укол. И он, наконец, заснул.

А назавтра он оказался в больнице. Сказали: никакое возрастное тут не причем, а — миокардит, заболевание сердца. Обязательная госпитализация. А причины могут быть такими-сякими, пятыми-десятыми. Разберемся.

И первый день, вернее уже вечер в больнице: он лежит, сильно дышит через рот, и глаза у него закрыты от солнца, залившего своим прощальным, но все никак не уходящим светом всю палату — ночей тогда почти не было, и слезы текут из закрытых глаз, и не жаль уже запоротых летних каникул, и ему делают срочную электрокардиограмму, ЭКГ, и белые халаты тычутся вокруг, и металлически, мерно скрипит этот их аппарат, и эта их экэгэшная лента. Все ползет… Ползет… Ползет… И неизвестно даже, чего было больше, страха или отчаяния; отчаяния от того, что жизнь, такая прекрасная, могла так с ним поступить, так предать его. Но первый раз он тонул, именно тонул в отчаянии: если жизнь м о ж е т быть и такой — стоит ли жить вообще?

Потянулись больничные дни. Особенно плохо было первое время. Даже книги не помогали. Видел он в них, в основном, фигу. Ну, все ж таки, отвлечение… Родители приходили каждый день, но в палату их не пускали (потом стали пускать). Общались через окно. Он безумно радовался родителям, но после их ухода было, пожалуй, еще хуже, чем до их прихода.

Просто плохо было днем, кошмарно вечером. Тоска, отчаяние, боль, страх, что там еще? сгущались к вечеру. И как будто все время резало глаза, или как будто кто-то все время чистил в палате лук. Он лежал, цепенея, на кровати, смотрел в окно. Светлым-светло. Солнце, никак не могущее провалиться, смотрело на него раззявленным догом. Большое, красное.

Душевные страдания «большого» Павлуши.

Без тех самых капель он теперь не засыпал. Все тот же страх: заснуть и не проснуться. Ложился в кровать, лежал, но потом обязательно поднимался и подходил к медсестре. Те уже привыкли, молча капали ему. Привычными, но и какими желанными

стали теперь для него эти капли. Это уже было как рефлекс: как будто бы лечь спать, но потом обязательно встать за ними.

Но потом как-то… Как-то стало лучше. Потихоньку-полегоньку. Как-то незаметно он перестал пить капли на ночь. И страх смерти как-то потускнел, а потом и вовсе исчез. ЭКГ улучшалось, и родители появились в палате, и Павлушу даже стали отпускать на прогулки с ними, и даже на весьма продолжительные. Жизнь, оказалось, продолжалась по-прежнему. Солнце сияло, небо синело, трава зеленела. Прекрасный, огромный мир. И Павлуша постепенно в него возвращался, сам не замечая того, и даже до конца не веря в это возвращение. Жизнь, еще недавно такая ужасная, незаметно, ни с того ни с сего, стала опять прекрасной.

Но может быть, — не точно, но может быть, — именно с той поры в нем поселилось глубокое н е в е р и е в жизнь. Обманувшая однажды может обмануть и дважды, и трижды, и сколько угодно. И его она точно не спросит.

Но, в то же время он же любил жизнь! Обожал ее. Бескорыстно, бесцельно. Она же — единственное, единственное как Солнце! Что любить как не ее? Больше нечего.

Он был как ополоумевший любовник, гоняющийся и гоняющийся за своей единственной, и, когда она в очередной раз с ненавистью и презрением отшвыривает его, он не находит себе места и жаждет смерти, но когда она соизволит проявить свою к нему благосклонность, поманит пальчиком, опять посулит что-то, он, как будто ничего и не было, снова себя не помнит от счастья. Он снова румяный, восторженный, ахающий гимназистик.

Уже тогда что-то такое угадывалось.

Из больницы Павлушу выписали уже ближе к концу лета. Интересно: он так уже обустроился в больнице, что почти перестал замечать, так сказать, неволю, но когда выяснилось, что сегодня его выписывают, но уже слишком поздно, а отец ушел полчаса назад и придется ждать до завтрашнего утра, он не знал, что с собой делать, хоть башкой на стены кидайся, весь извелся. Но завтрашнее утро все-таки наступило.

ЭКГ у него было — лучше не надо.

Остаток лета Павлуша провел в Белоруссии, у тетки. Вместе с мамой. И погода стояла опять на диво, хоть и осень уже на подходе. Какие чистые, солнечные утра там были! И какой сосновый лес.

Осенью Павлуша уже пошел в другую школу. Так получилось. Ничего особенного в этом не было, он до этого уже учился в трех школах. Но: что-то кончилось. Он и раньше трудно сходился с новыми одноклассниками, с новыми людьми. Но, все-таки сойдясь, становился там совсем своим, и даже пользовался почти общей симпатией. И по драке был вполне молодец, что было необходимо для общей симпатии. А тут — какие-то чужие, грубые, гогочущие, не обращающие пока никакого внимания на н о в е н ь к о г о . Чужие, очень чужие. Да и своим-то становиться с ними как-то не очень хотелось. И раньше бы он этого не особо возжаждал, но сейчас — скорее бы он предпочел, чтобы его просто не замечали. Впрочем, не замечали его не долго. Основной в классе (он сразу прикинул, оценил, что это основной) наехал на него по какому-то поводу. И он стерпел. Скромно стоял, потупив глазки. Скромно ждал, пока воспитательный гнев основного остынет, основной поймет, что отсюда ему нечего ждать опасности и оставит его в покое. Впрочем, если основной стал бы прямо его метелить, Павлуша бы прореагировал, наверно, как-то более активно, но основному этого не требовалось: сильно пхнуть в плечо: «Ну, ты! Что-то имеешь?!» и посмотреть, что будет, если ничего, то и достаточно: воспитуемый понял, кто он есть. И Павлуша стерпел. Понял, кто он есть. Что-то треснуло в нем. Укатали сивку. Наверно, миокардит его укатал. Но, может, и не он? Может, просто пришла пора? Что-то сдвинулось в тебе, и ты уже не можешь быть тем, кем был.

А еще каких-нибудь три месяца назад, да возможно ли было такое?! Чего?! Эт-то мы еще посмотрим!

Но все это славное мальчишеское прошлое стало теперь прошлым. А на него еще наезжали из окружения Самого, но тут он уже был тверд: чувство чести перед ними он уже засунул куда подальше, но ясно видел другое: дай сейчас слабину и навсегда будешь чмом, манекеном для пинков, тычков и оплеух. Таких

примеров он насмотрелся. И тут уже было не чувство чести, а холодный расчет — дальше отступать некуда, даже право быть незамечаемым нужно отстоять. И когда они — удар в плечо, он — удар в плечо, удар сильнее — и он отвечал сильнее, они — следующий шаг к драке, и он — следующий шаг к драке. Он что есть силы давал понять, что пойдет до конца. Тогда они поняли, что с ним, пожалуй, все-таки лучше не связываться. И оставили его в покое. Тем более — вон вокруг сколько народу. Кстати, парочку из таких же, как и он, новеньких, таки ждала судьба, которой он сумел избежать. Чуть ли не до конца школы они так и остались. Этими самыми. Но своим среди своих одноклассников Павлуша так и не стал, хотя отношения с ними с годами теплели, правда, очень медленно и несильно. К концу школы все у него с ними было нормально…

Но тогда, хоть и с отвоеванной частичной автономией, как он не то что ненавидел, а как-то страдал от них и брезговал ими! Жлобье… Тогда он еще не знал этого слова.

С учебой у него все было, разумеется, нормально. Как всегда.

После болезни он был освобожден от физкультуры. Они жили в пригороде, знаменитом своим великолепным парком с фонтанами. И во время очередной физкультуры, если не было дождя, он отправлялся туда, где простирался парк. Чем ближе он подходил к парку, тем меньше становилось людей, машин, шума; становилось спокойнее, пустыннее, возвышеннее. Воздух делался крепче, резче; освобождался от какой-то мути. Он спускался к заливу вдоль чугунной ограды, границы парка. Повсюду обильно, роскошно, разбросаны листья, свежие, влажные; желтого, красного, н а с т о я щ е г о цвета. Он шел, глядя больше под ноги, и от их цвета немного пьянел. Подходил к заливу и смотрел в туманный, размытый морской горизонт. Подслеповато светящие, еле движущиеся огни, похоже, очень далеко отсюда. Потом он пролезал сквозь ограду (криво раздвинуты два оградных прута) и попадал в парк. И там никого. Нет толп, фотоаппаратов, «праздничного оживления», ни из какой дали не бухает музыка. Фонтаны молчали. Все застыло,

спало. Он шел по парку и сам как будто погружался в какой-то странный, туманный, сладостно-грустный сон… Какая-то новая тихая грусть, ему прежде незнакомая. Что-то как будто тихо, незаметно умирало в нем, но вместе с тем потихоньку вызревало, рождалось что-то новое, неизведанное…

Отрочество ворвалось в его жизнь, когда он был погружен в состояние странной последетской спячки. Появились рок и Друг. Друг — это был вариант «лучшего друга» из детства, но прибавилось и новое: они уже были достаточно большими, а чувствовали себя еще больше, и в их дружбе уже была некая неосознанная оппозиционность миру взрослых, который представлялся им, опять-таки неосознанно, дурацким и занудным, а сами взрослые — какими-то линялыми, безликими. Познакомились они молниеносно и с тех пор не могли друг без друга обходиться. Общались часами и каждый день. И не надоедало, и в голову не могло прийти, что может надоесть. Бог знает, о чем они говорили. Они бы и сами не вспомнили уже на следующий день, да разве ж в этом было дело. Общение, общение, обмен какими-то флюидами — вот главное. С кем попало такого не будет. На то и нужен — Друг. Занимались тоже чем попало, например, играли в шашки.

Но появилось и еще кое-что — рок. Рок-музыка. Еще пару лет назад (а сейчас он был в седьмом классе) Павлуше довелось его услышать. Услышать между прочим и буквально полминуты, и то доносящийся из окна; он как раз шел по улице с двоюродным братом, гораздо старше него, и двоюродный брат даже приостановился и сказал Павлуше, кивнув на окно: «Хорошая музыка». Тогда, от двоюродного брата, он и услышал слово «рок». Даже не сразу понял: слово «музыка» женского рода, а «рок» мужского, к тому же такое короткое, и до него не сразу дошло, что «рок» — это название музыки. Но в самой этой музыке, едва услышанной, что-то его как-то… зацепило. Какой-то порыв, необузданность, но вместе с тем и какая-то строгость, даже аскетизм. Все, что Павлуша слышал до сих пор, было «эстрадой». Все очень умеренно, мило. А тут — совсем, совсем не то — он уже

тогда как-то сразу это почувствовал. Старший двоюродный брат эстраду презирал, и Павлуша не мог с ним не согласиться, хотя некоторые эстрадные песни ему очень нравились. Была классическая музыка, которую иногда слушали родители, а была эстрада. А вот, оказывается, есть еще и рок. Ни то, ни другое. Павлуша тогда же слегка порасспрашивал брата о роке. Брат сыпал названиями «команд», что-то тогда же осело в памяти: «Пинк Флойд», «Эмерсон», «Кинг Кримсон», «Лед Зеппелин». Ну, обсуждать тут долго нечего, тем более Павлуша и не слышал этого самого рока, и они и пошли с братом дальше, куда шли. Но эта услышанная музыка, этот разговор запали.

Потом еще, чей-то раздолбанный кассетник, и оттуда рвется — рок. Это он сразу тогда понял. Тут уж можно было расслышать подробнее, несмотря на поганую запись. Он слушал и слушал, хозяин кассетника позволял. И Павлуша как будто тогда же сказал себе, спокойно и уверенно: «Это — мое».

О, как он страстно желал принадлежать к породе людей, слушающих рок! А эти, играющие рок, он видел их на фотографиях — как они были великолепны! Драные, волосатые, орущие. Гитары, микрофоны, ударные установки, провода по всей сцене. Вот это — жизнь. Вот это — действительно. Они казались ему пророками. Да они и были пророками. Людьми, несущими какую-то истину, откровение. В чем была эта истина, точнее даже и с т и н н о с т ь , он даже и не задумывался, никакие слова тут были и не нужны, бесполезны. Рок, при всей своей гипертрофированности, даже надрывности (надрывность, — но без сломленности, наоборот, — сила, как будто сила самой жизни, бьющей ключом), при всех своих как бы «ненастоящих» качествах и казался ему именно настоящим. Настоящим, подлинным, истинным. Ненастоящее — это школа, учителя, одноклассники-жлобы, папаши-мамаши, вечно требующие какой-то ерунды, чуши. Вот это все — как раз и есть ненастоящее. Фигня какая-то, туфта… Порой, правда, довольно назойливая, к сожалению. Чем меньше о ней думать, тем лучше. Чем лучше научиться ее не замечать, тем лучше. А классическая музыка — фраки, залы, раскланивания… Что-то от костюмного фильма. И сам

звук классики – тоже какой-то костюмный. Вот в роке – поет, так поет, играет, так играет. Орет, так орет. Как на душу легло.

Тем более, рок слушали относительно немногие. В основном-то слушали «дискотню» – так на ту пору презрительно именовалась эстрада. Значит он принадлежит к какой-то элите. Принадлежать к элите – всегда хорошо, но тут и элита была как раз для него – элита «настоящих» людей. Люди, слушающие рок, и казались ему «настоящими людьми». Естественно, речь шла о сверстниках. А взрослые… Ну о чем тут говорить? Даже смешно…

Что-то такое вызрело в нем где-то к середине седьмого класса. И как раз родители купили ему магнитофон. И как раз он обрел Друга.

Рок и Друг. Все. Теперь можно жить.

Друга, понятно, он тоже быстро обратил в свою веру. И понеслось…

Это была самая настоящая мания. Павлуша почти ни о чем не думал, кроме как о том, как достать очередную запись. Поглощало все его душевные, умственные и прочие силы. И как трудно доставались эти самые записи! Пластинок – не достать, хотя самая ценная запись – «с пласта», а у нас каких надо пластинок не выпускают; приходится переться к кому-то, едва знакомому (а перед этим еще долго вести переговоры через знакомых знакомых, чтобы пустил записать у себя) со своим магнитофоном-чемоданом (у Павлуши, настоящего человека, разумеется был боббинник, кассетники – это для всякого жлобья, мажоров и баб), там записывать у того и все время бояться, а вдруг плохо запишется – если хозяин не слишком расположен занимать тобою свою комнату – один раз, и хватит, и часто действительно дома оказывалось, что запись вышла так себе – тогда Павлуша бывал совершенно убит, безутешен; а если передаешь пленку, чтобы записали, запись может выйти просто никуда не годной, хоть сразу же можно стирать – а ведь такая вещь! как пережить это?! а иногда тот, у которого записываешь, и предоставляет тебе возможность перезаписать, но все равно – записывается все плохо да плохо, ну что тут будешь делать? головка, зар-раза, все время засоряется, переписываешь

по пятому, десятому, двадцатому разу, дурея, шалея, исходя потом, ну что в конце концов такое?! может, пленка сыпется, да вроде новая, не должна; эх, да что там говорить… Наконец, записали. Торжественное, с замиранием сердца, прослушивание. Потом — торчание, детальнейшее обсуждение неделями кряду. Время триумфа. Но — в путь, в путь! Опять надо выведывать, у кого что *есть*. Самое обидное — дадут послушать дня на три, а потом заберут, а там такая *вещь*! и жить уже не можешь, не обладая ею, сплошная мука, а не житье. Сколько раз Павлуша видел сны, как он ставит пленку, и на пленке — *она*, сейчас он врубит, вот он — миг победы, но на пленке всегда вдруг оказывается какая-то ерундень… Даже во сне *она* ускользает. Меломанские знакомства были у них весьма скудны и почти не расширялись, то есть знакомые-то были, особенно у Друга, но слушали-то все в основном дискотню…

Их стало трое.

Подошел девятый класс. «Старшеклассники». Уже длинные, ростом со взрослых. Павлуша, увы, не рос с конца восьмого класса и так и остался 178 см. Одно время он жгуче интересовался собственным ростом (весь восьмой класс), но, увидев к девятому, что ничего ему больше не светит, успокоился. Лучше бы быть поздоровее, но чего уж. В конце концов, не коротышка. Сердце у него после миокардита вело себя не слишком хорошо — в седьмом классе еще пришлось полежать в больнице, но к девятому — все с ним обстояло как нельзя лучше. Родители несколько раз водили его по блату и к светилам — те говорили, что все океей. Все показатели — в норме. В военкомате Павлуша был признан годным к строевой.

Его посетила «первая любовь». Наверно, это и была первая любовь. Павлуше нравилась одна его одноклассница. В ее присутствии он испытывал некоторое приятное волнение, томление. Он не делал никаких шагов к сближению — не писал, например, записок, но как-то весь класс знал о его «чувстве» — наверно, пялился на нее слишком много и открыто — и над ним посмеивались. Но… Его не слишком все это занимало. Приятно чувствовать

приятное томление, но оно и так никуда не денется — в школу приходится ходить каждый день, а к большему он и не стремился, с него хватало и томления. А если начать что-то предпринимать — ну его к черту. Столько мороки… Ничего не знаешь, не умеешь… А главное — девушки потом.

А первым делом… Второй Друг, более практичный, решил, наконец, радикально улучшить их меломанские дела. Он узнал, что существует т о л ч о к, где продают, покупают и меняют пластинки; узнал, где он находится, по каким дням работает. И они решили наконец сделать прорыв — получать музыку прямо из первоисточника, источника неограниченных возможностей, и все записи отныне у них будут только с пласта. А тут еще родители подарили Павлуше на шестнадцатилетие целую кучу денег… Ясно же, что с ними делать. Все. Теперь они окунутся в океан. Какие еще тут могут быть девушки?

Толчок. Работает раз в неделю. Они старались бывать там как можно чаще, вдвоем, втроем. Уже при приближении к нему (он располагался неподалеку от одной железнодорожной станции на пути в город) замирало сердце. Что на этот раз пошлет судьба? Бывало, что не посылала ничего. Все, что там было стоящего, уже было у них. В основном-то все завалено всяким фуфлом. А они довольно быстро напокупали, а потом и наменяли порядочно, поэтому ничего удивительного. Но бывало и наоборот — на толчке было с л и ш к о м много. А денег всегда мало. А менять тот не согласен. «Только сдаю». Или хочет менять, да не на то. Или просит неприемлемый «добой» — в будущем заведомый «пролет». Или пластинка слишком запиленная, — а тот просит за нее — в таком состоянии! — несусветную цену; ты бы и такой ее взял, но на что ты обменяешь ее в следующий раз? так можно с пятидесяти до пяти рублей докатиться, а где взять деньги? а тот увидел уже, как ты в нее вцепился и цену не сбавляет. И ты ходишь, ходишь по толчку, по нескольку раз возвращаясь к тому, но он непреклонен. Но, впрочем, почему же обязательно непреклонен? иной раз и удастся его дожать. Да и деньги подкапливались — у всех троих, запас для обмена медленно, но рос. Тем чаще они возвращались с толчка не

унылые, молчаливые, а возбужденные, нетерпеливые, тараторящие, перебивающие друг друга. И — прослушивание. И — записывание. Лихорадочное, нетерпеливое, хотя теперь-то никто не мешал?

Алкоголь… Павлуша открыл его для себя где-то к концу девятого класса. И сразу же, как когда-то с роком, понял: «Это мое». До этого как-то в голову не приходило. Какое-то совсем чужое, «взрослое» занятие, совсем, вроде бы, не про него. А что многие одноклассники поддавали, хвастались, тоже отнюдь не делало это занятие более для него привлекательным, скорей уж наоборот. Но Второй Друг был большим любителем этого дела. Не то чтобы он Павлушу соблазнял, но как-то все время упоминал, как они то там, то сям. И как-то раз Павлуша оказался со Вторым Другом на природе, около одного из озер, и была бутылка портвейна. Был и стакан. Как-то это все случайно вышло, Второй Друг, вроде, собирался пить с кем-то другим, но почему-то не получилось, а тут оказался Павлуша… Как-то так. Был апрель, уже зеленела кое-где нежная травка, предвестие лета, хотя и холодно было, зар-раза! Сидели на поваленном, трухлявом дереве, слегка подсохшем сверху. Павлуша выпил стакан. Ну и что? Сладенькое что-то. Посидели, поговорили. «Ну как?» — спросил Второй Друг. Павлуша пожал плечами. «Ни фига». Потом попытался встать, и вдруг почувствовал, что не может. Все-таки встал, обвел взглядом озеро, лес, поглядел на начинающуюся травку. И… Все понял. Вот еще одно, с чем надо шагать по жизни.

Они быстренько совратили и Друга. У Друга был пьющий отец, и у него их предложение вызвало поначалу неприятные ассоциации, но оказалось, что если сам пьешь, — то это совсем другое дело! Вот они нашли и еще одну забаву юности. Частенько позволяли себе. Сначала им было немного нужно, но доза, естественно, росла и росла. Пили бормотуху. Не противный сухарь — к тому же слабый, но, с другой стороны, и не водка. Та уж больно люта. Валит быстро. Еще и взять было не так просто. На восемнадцать лет никто из них не выглядел. Некоторые продавщицы давали и так. А некоторые нет. Они их всех знали. Та дает, эта не дает. Только совсем не про то шла речь. Приходилось обращаться за помощью к

мужикам. Как правило, они встречали полное понимание. Но были и такие, которые кочевряжились.

Не то чтобы они этим сильно увлекались, но были не прочь, очень не прочь. На почве пьянок у них даже образовались новые знакомства, новые компании. Как правило тоже с меломанским уклоном.

А потом появился Учитель. Павлуша познакомился с ним на толчке, и оказалось, что тот живет там же, где и они. Учитель был старше их года на два, уже после школы, и казался Павлуше очень большим. Действительно, школьную форму ему носить не надо, не надо вставать в начале каждого урока перед какими-то малознакомыми, хотя и все время мозолящими глаза тетками. У Учителя были длинные волосы, и он работал сторожем. Чем-то Павлуша его купил, раз он решил познакомиться с таким явно маменькиным сынком. А для их союза он открыл новый мир. Для начала — в мире музыки. Тот рок, который они слушали, оказался не самым крутым. Учитель назвал кучу имен, до этого едва знакомых. Вот это, вот эти имена — и есть самое крутое. Павлуша, соблазненный, распаленный, чувствуя, что перед ним опять новое, необъятное, горячо совал Учителю пленки, чтобы тот записал. Учитель согласился, но — «под бабки» и назвал цену. Ну, под бабки, так под бабки, какая ерунда! Разумеется, Павлуша забросил Учителю пленки, и вообще — такая честь быть знакомым со столь почтенным человеком! Хотя Павлуша давно был твердо убежден, что брать деньги за запись рок-музыки — мерзость. Мерзость, и больше никак это назвать нельзя. Но в данном случае постарался не заметить того, о чем мгновенно подумал. Не нам судить… Потом он раз двадцать приходил к Учителю за пленками, но всякий раз оказывалось, что они не готовы. Они и в самом деле надавали целую кучу пленок. Конечно, никуда не делся и толчок, но денег было мало, довольно часто случались прискорбные пролеты, да и на толчке им удавалось бывать не столь уж часто, а тут — целые залежи пластинок. Учитель бывал неизменно хмур, открывая Павлуше дверь, и оглядывал его как будто с каким-то неудовольствием: долго еще, мол, будешь ко мне шастать? Всякий раз Павлуша

боялся, что тот вернет пленки, записанные или незаписанные, и даст понять, чтобы больше его не беспокоили. Но все-таки Учитель пускал Павлушу к себе, приглашал сесть, закуривал и ставил что-нибудь из крутого. Павлуша внимал. Учитель скупо комментировал. Было такое, что действительно прямо потрясало Павлушу — никогда он не слышал ничего подобного, но в целом для него было мудровато. Ничего, врубимся, поработаем над собой. Иногда заглядывала мамаша и устраивала скандал за курение в комнате. И такому человеку, оказывается, приходится соприкасаться со столь низменным. Провалились бы куда-нибудь все эти мамаши… Учитель открывал форточку и, погодя некоторое время, опять закуривал. Иногда мамаша являлась и во второй раз. Так длилось, видимо, уже годы.

Учитель был немногословен. Возможно, ему особо и нечего было сказать. Но просто пребывать в его ауре было для Павлуши больше, чем счастьем. Он даже разглядеть его как следует не мог, не то что судить о нем. Даже чашку с чаем Павлуша ставил на стол необыкновенно почтительно. А выходил от Учителя весь взбаламученный, ничего не видя вокруг, долго шел пешком, не садясь на автобус, ноги сами несли и несли. Сейчас, кажется, взлетишь, оторвешься от асфальта, от взлетной полосы. И дома все было никак не успокоиться. Что-то все мерещилось, грезилось ему, какие-то близкие бездны, высоты, вихри. А потом опять к Учителю. Лишь бы он не лишил его возможности пребывать в его ауре!

В конце концов все пленки были записаны. И Учитель сказал: «Ладно. Брать деньги за запись совесть не позволяет». К тому времени они уже все трое познакомились с Учителем. Образовалось нечто вроде дружбы на почве меломанства. И группы они теперь слушали самые «элитные». А те, старые, это так, детство.

Однако была одна группа, которая сразу пришлась Павлуше в самую жилу. Это была группа «Дорз». «DOORS». И ее вокалист и руководитель Джим Моррисон. Ее музыка была не особенно замысловатой, не так, как у этих новых. Но Джим Моррисон, шаман. Его голос. Его смерть в двадцать семь лет. Они все трое буквально дурели от него, он их заводил, как, наверно, настоящий

шаман, особенно если поддать. Для Павлуши именно Джим Моррисон и стал воплощением рока, весьма разного, как он уже успел убедиться. Madness, loneliness. Безумие, одиночество. Отчаяние, ярость, бунт, взрыв, экстаз, безумный рывок черт-те куда, и черт с ним, что будет потом. Все время на грани гибели. Может быть, благодаря Джиму Моррисону Павлуша окончательно понял, что смерть в основе всего. По крайней мере для него. В музыке, в книгах. Во всех сильных, глубоких, значительных переживаниях – в их самой глубокой основе – всегда она. Так или иначе.

Но главное, что внес Учитель, было другое. Не музыка. Но то, что, однако, было связано с музыкой для всех них, хотя и бессознательно. Все они знали, что многие рок-музыканты употребляли наркотики. Некоторые даже гибли от них. Но дело было не только в подражании кумирам, и даже не столько. Наркотики – это было то, что еще сильнее отделяло их от всех остальных, спаивало их союз еще теснее, делало его еще более ценным. Они как бы становились рок-группой, которая не играет музыки.

Идти на запрет – что может быть прекраснее и достойнее! Стать уж совсем «настоящим человеком». Да и интересно, любопытно до безумия! до сих пор у них представления о наркотиках были самыми обывательскими. А эти дурачки хамят учителям, «самоутверждаются». Спорят с теми, кого надо не замечать. Заботятся, как они выглядят в глазах каких-то нудных, надоедливых теток!

Словом, жребий был брошен, или, там, Рубикон был перейден. Неизвестно, когда зашла речь о наркотиках, ясно только, что это было связано с Учителем. Павлуша был первым, кто принял на себя мысль о том, что ему ничего не мешает употреблять наркотики, и о том, насколько это круто! Побежал делиться своим ошеломляющим открытием с Другом, который тоже, разумеется, был «за». Они оба были дико взволнованы, разволнованы этой гениальной и простой идеей, вдвоем их волнение даже удваивалось. Побежали ко Второму Другу. «Давай торчать», – сказал Павлуша. «Давай», – ни секунды не помедлив, сказал Второй Друг, спокойно, в своей манере. Ну все! Теперь они будут по-настоящему круты! Не то, что эти

портвейнососунки. Весь вечер просидели у Второго Друга в предвкушениях и упованиях, хотя никто и понятия не имел, в чем заключается действие наркотиков.

Учитель сначала выразил недовольство: связываться с вами, вы-то несовершеннолетние, вам-то ничего не будет. Но они чуть ли не повисли на нем: дяденька, дай наркотиков, дяденька, ну дай наркотиков. Учитель, ворча, согласился. Сказал, чтоб закинули бабки, будет — принесу. Они имели в виду план. Некрасивое, уголовное слово, совсем не из их игры. Не то что изысканная битническая марихуана, хотя означает одно и то же. Впрочем, ее часто называли и «анаша» — на восточный лад. Это уже лучше. «Курит анашу» — пальчики оближешь! Но чаще ее называли «трава», «дурь», «шмаль», «масть».

Были еще и другие наркотики — совсем уже крутые: ими нужно было шмыгаться (производить внутривенные инъекции). Это бы уж совсем возвысило их в собственных глазах! Но шмыгаться они боялись. И, кстати, так до этого и не доросли, хотя разговоры об этом время от времени поднимались.

Но где же наша масть?! Учитель все не нес ее и не нес. Они изнывали в ожидании. Искали в медицинских книгах симптомы отравления различными наркотическими веществами. «Отравление». Нам бы такое отравление! Как трепетно они брали в руки медицинскую книгу, как жадно вчитывались в каждый симптом, как горячечно смаковали его в своем воображении! Джигиты рвались в бой.

Кстати, никто из них не курил (точнее, побросали классу к третьему), и нужно было срочно учиться, чтобы смочь курить траву. Просто курение — для начала это тоже было занятно, особенно в такой прекрасной компании.

А Павлушина хандра, страх смерти совершенно куда-то подевались. Какой, к черту, страх смерти, если жизнь так обалденна, так умопомрачительна?!!

Как-то раз к Павлуше зашел Друг. По его лицу Павлуша сразу понял, что что-то произошло. Он мигом выскочил, и они спустились к мусоропроводу. «Есть!» — просипел Друг, смотря на Павлушу

расширенными глазами. Аккуратно разворачивали сложенный в несколько раз обрывок газеты. Действительно, сушеная, измельченная трава. И запах от нее — тяжелый запах зелья, дурмана. Не разочаровывал.

И пошло, и поехало. Лихорадка. Музыка — трава, трава — музыка. Укуривались, где только могли, в основном по парднякам, потому что стояла уже глубокая осень, последняя школьная осень. Иногда и на улице, там, где людей поменьше. Иногда, если у кого-то не оказывалось родителей, шли к нему, курили шмаль и слушали музыку. Поначалу ржали от травы как безумные, заходились в припадках смеха. Раз Павлуша уж думал, что скончается; он корчился от смеха на полу, и было никак не вдохнуть, не вынырнуть из смеха. А слушать музыку при выключенном свете — это было, наверно, самое лучшее. Громко рубила музыка, Павлуша сидел на диване, откинувшись на стену, а перед прикрытыми глазами стояла бухта, выплывали корабли, и яркие огни вспыхивали на черном небе; стояла одинокая скала, и от ее вершины расходилось бриллиантовое свечение; иногда он приоткрывал глаза, темнота, лампочка на магнитофоне, застывшие контуры друзей, еле слышное шипение пленки, расплывшиеся огни многоэтажек, косо доходящие сюда; потом снова прикрывал глаза, и вот он уже смотрит вглубь глубокого колодца с гофрированными стенами, как у футляра от лампочки, а не дне, далеком-далеком, бегают, мечутся люди, и как будто что есть силы машут ему, а вот его уже носит в лодчонке по бурливому, малиновому океану, и ничего не видать из-за малинового дождя льющего сплошной стеной, вспыхивающего то чернотой, то еще большей малиновостью, а вот он медленно передвигается по каким-то первобытным иссиня-зеленым зарослям, навстречу небу, и небо такое же густое и иссиня-зеленое… Кончалась одна пластинка — очередной косяк на лестнице, или даже между сторонами, и тело все больше наливается ватностью, и как будто бы начинает дышать, а в голове еще больше, еще гуще сухого тумана, дурмана, и глаза все краснее и как будто обметаны студенистым налетом. Потом гулять по холодку или даже под дождичком, шмаль оставлена дома, на тот случай, если ненароком

прихватят менты, хотя с ней удобно — не шатает, не воняет, как с выпивки, никто не врубится. Раз Павлуша посмотрел под ноги, на затвердевшую грязь, и ему показалось, что он смотрит на горный хребет с гигантской высоты, и ноги немедленно отказались идти, он аж весь просел; отвел взгляд, очухался; другой раз в дереве ему привиделась гигантская собака, что-то вроде сидящего дога, охраняющего какие-то таинственные ворота. А один раз, в городе, куда они поехали брать шмаль, уже без Учителя, с кем-то другим (знакомств по этой части у них набралось), их неожиданно ни с того, ни с сего прихватили менты, потребовали паспорт, и у того, с кем ехали, кто брал для них, паспорт оказался, а у них, неопытных — нет (обязательно надо таскать паспорт с собой), и того отпустили, а их повезли в участок, а шмаль была на кармане у Второго Друга, и он виртуозно — незаметно для ментов — швырнул ее в кусты; потом их выпустили, и они поехали домой, но сначала, разумеется, нашли и подобрали шмаль, которая была просто ядерная; спыхали всего один кас по дороге на вокзал, и Павлуша сразу почувствовал, как начинает разъезжаться в разные стороны у него морда, мгновениями ему казалось, что тьма ревет вокруг него, казалось, что он самолет в этой ревущей тьме; прибили косяк и в тамбуре, потом сидели в электричке, в свету, в людях, и это было шизово, они плохо врубались в происходящее вокруг, галдели между собой, ржали, обсуждая происшествие с ментами, а потом Павлуше вдруг стало плохо, худо-худо, и он вдруг остался один на один с собой, со своими плохо соображающими мозгами, сознающими только одно: худо, а все остальное слилось в один далекий фон, он выговорил: «Что-то хреново мне» и пошел в тамбур, Друг отправился за ним; в тамбуре Павлуша прислонился к стенке и думал: «Сдох от наркотиков… Сдох от наркотиков… Красиво со стороны… Но для того, кто сам подыхает… Особенно в момент подыхания…», и Джим Моррисон тоже был живой человек, и ему было страшно умирать, так же, как и всем, и отроду ему было всего ничего, это же ужас, кошмар, и какие тут деньги, какая слава, какая «крутизна», «Сейчас отойдешь», — сказал Друг, и Павлуша мертво улыбнулся: «Точно. Отойду», но решил, что надо

успокоиться, закрыл глаза и увидел тропический остров, как на картинах Гогена, представил себя на этом острове, и вдруг ему стало спокойно-спокойно, хорошо-хорошо, и он простоял так минут пять, от всего отключившись, и очухался, из тамбурного окна еще ветерок. «…как труп. Я аж испугался» — сказал Друг. Доехали, там решили прибить еще один; «Я пас» — сказал Павлуша, но все-таки сделал несколько тяжек. Потом домой; объясняться с родителями, почему так поздно. Как всегда, одно и то же. Заниматься надо, в университет поступать, а ты шляешься; а чего туда поступать, там конкурса считай нет, да нормально я занимаюсь, в самый раз; он действительно готовился в университет; хотя ему, разумеется, было скучно готовиться, ему и в голову не приходило, что можно не готовиться, на полном серьезе он и собирался стать математиком, как это и было предуготовано для него с детства, а эта его, другая жизнь, существовала как-то сама собой; левая рука не ведала, что творит правая.

Так, на всем скаку, они и влетели в окончание последнего учебного года. Школьные экзамены. Выдался отличный май. Солнце сияло с таким оптимизмом. И забор рядом со школой, свежевыкрашенный в яркозеленый цвет, тоже сиял оптимизмом подстать солнцу. То были странные и теплые дни. Даже отношения с одноклассниками вдруг потеплели, и даже учителя, еще недавно такие совсем одинаковые, вдруг приожили, и что-то человеческое, а не учительское стало проглядывать в них…

Сдал экзамены Павлуша, конечно же, без проблем. Правда, после экзамена по химии его укусила оса.

Торжественный вечер по случаю окончания школы. Дискотека. Они слиняли как можно раньше и шлялись допоздна по полям, по лесам. Валялись на траве и курили траву.

Состоялось поступление в университет. Павлуша был рад, рад как щенок. Все вместе дружно радовались: он, его отец и его мать. Все вместе радовались одному. Когда это было в последний раз? очень давно: года три, а то и четыре назад; гигантский срок. Он отплывал, отчаливал… Оба Друга тоже поступили, правда, все в разные вузы. Павлуша, естественно, как же иначе, поступил

на математико-механический факультет. Это совсем близко от его квартала, минут пятнадцать по прямой асфальтированной дороге.

И наступили последние школьные летние каникулы, если их еще можно так было назвать. Павлуша уехал с родителями на месяц в Ялту. Немного жаль было расставаться с друзьями аж на целый месяц, но ЧУВСТВО ОБАЛДЕВАНИЯ от жизни было таково, что он все время ходил как под мухой, и все для него было хорошо. В Ялте он бродил один среди кипарисов, лазал многие часы по горам, подолгу смотрел с высоты на море и на белые санаторские корпуса, срывал что-то вроде слив, пил много газированной воды за три копейки, возвращался домой в темноте.

А как приехали, так он сразу же, чемоданов не успели разобрать, побежал к Другу. У Друга оказалось пара хороших ребят, и слушали новую вещь. Так свободно, вольготно почувствовал себя Павлуша в своей стихии.

Оставался август. Бог подарил им прекрасный август, почти такой же, как июль. Теперь только рано темнело. Они шатались в прохладных, но не холодных сумерках. Дома были родители, а на улице было отлично. Они облюбовали себе место где-то в километре от квартала, в маленькой рощице, довольно укромное. Идти туда через поле. Там было много здоровенных камней, булдыганов, и пепелище от множества когда-то горевших здесь костров. «Пойдем на камни» — так называлось у них это место. Там, на камнях, они жгли костер и пили портвейн. Одно время они совсем бросили пить — слишком гопническое занятие для утонченных наркоманов, — но теперь портвейн как-то незаметно вернулся. А травы стали курить меньше. Валялись у костра, болтали, попивали, потом шли гулять, присаживаясь, приглатывая еще по дороге, заходили далеко. Шли гуськом по тропинке, или по полю врассыпную. Больше молчали. Всем было легко. Никакие разговоры были не нужны. Просто идти втроем, рядом друг с другом, в холоде августовской ночи — этого было достаточно. Иногда останавливались, прислушиваясь к далекой кукушке. Забредали и в лес. Потом, отмерив многие километры, шли домой, и совсем не пьяные. В голове было светло. И родители дома не ругали их.

В последнее время Павлуша стал читать много Маяковского и Лермонтова…

Один раз Павлуша оказался на камнях один, друзья должны были вот-вот подойти. Он сидел на большом камне, свесив ноги, сунув руки в карманы. И вдруг как будто что-то обвалилось в нем, и он стал молиться, без слов, не издавая ни звука, весь в каком-то тихом экстазе; молиться на это заходящее солнце, на это поле, на этот лес неподалеку, на этот божественный вечерний воздух, на тронутый закатом квартал вдалеке, на друзей, чье отсутствие делало их как будто еще более зримыми, осязаемыми, близкими, на свою силу, молодость, красоту. И никак было не излить в молитве свою благодарность кому-то за посланную ему неизвестно за что прекрасную, роскошную, великую жизнь, и он клялся, клялся, клялся отплатить хоть как-то за этот дар…

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Он опять нажрался в своем парадняке, на улице были дождь и темнота и негде сесть. Чашку он вынес из дома, оттуда же пустую бутылку из-под кефира, заполненную водопроводной водой. Закусь — роскошь. Деньги на водку он стрельнул у Друга. От родителей ему перепадали карманные деньги, но и их, случалось, не хватало, и Другу он был уже должен страшно подумать. Тем мучительнее становилось каждый раз у него стрелять, хотя Друг и не отказывал — когда у него у самого были деньги — и не напоминал — Друг его любил. К тому же иногда он возвращал довольно большие куски долга — из сорока рублей стипендии. Раньше родители держали медицинский спирт в здоровой банке для всяких медицинских нужд, это было могучим ресурсом, поначалу казавшимся неисчерпаемым, но рвение его было велико, и ущерб рос быстро, его становилось невозможно не замечать - тогда он доливал доверху воды. Один раз отцу понадобилось поставить банки, и спирт никак не загорался — такое вот чудо произошло; стали разбираться, оказалось, что в банке уже почти только одна чистая вода. Был скандал; после этого родители стали запирать от него спирт. Он не пытался

разыскивать ключ — понял, что здесь пора остановиться. И теперь пил водку, он стал предпочитать ее портвяге.

Теперь он пил, в основном, один. В компании редко, и тогда начинал один, а потом, уже нарезавшись, находил какую-нибудь компанию, чтобы нарезаться окончательно. Пить с ним, похоже, стали избегать, — абсолютно ничего веселого в питье с ним не было.

Один раз он выполз из леса на двух ногах, допив последнюю бутылку портвяги; сидел на мокрой кочке, прислонившись к какому-то скату, тоже, естественно, мокрому и грязному. Он выполз, с грязным рукавом, с белой спиной — белая грязь, какого-то строительного происхождения, черт его знает, где его мотало с утра. Мужик гулял с маленьким ребенком. Он медленно вглядывался в мужика, чтобы изображение стало порезче. «Спички есть?» Мужик молча протянул ему спички. Он был хмур. Ребенок бегал рядом. «Спсибо». И, качнувшись, сплюнул себе под ноги розовыми слюнями.

Наверное, он пил бы чаще, но он очень тяжело переносил похмелье. Раньше вроде такого не было? А теперь не то что опохмеляться — думать об алкоголе на другой день он не мог. И как будто бы хотелось вымыться, соскрести с себя что-то. Лежа пластом, охая и блюя, он думал о самоосквернении, которое он в очередной раз допустил. Он осквернил себя, и это было непростительно. И часы похмелья тянулись бесконечно, чтобы он прочувствовал как следует, прочувствовал. Он ненавидел алкоголь. Но проходило несколько дней, и его с новой силой тянуло надраться. Это, правда, больше было похоже не на надирание, а на раздирание какой-то раны. Но и деньги были не всегда, поэтому и пил он, в общем-то, не так уж часто.

«Почему стало все так хреново? Куда все делось? Ничего ведь не изменилось!»

Грязь, дождь, ноябрь. А то последнее лето, лето, когда он оканчивал школу, поступал в университет, стало вдруг бесконечно далеким. Сгинуло, как будто и не было его никогда. Он не мог поверить, что прошло только три месяца. Все вдруг ушли. Разом покинули его. Он остался один. Один, носом к носу с самим собой.

Хотя вот же они все, рядом, и Друг, и Второй Друг, и лето так близко. Но не достанешь. Опять, что-то кончилось. Но он все не мог этого понять и все тыкался туда назад, тыкался. Внешне ведь ничего не изменилось, а пил он и раньше. Но не так пил. Не так смотрел. Не так чувствовал. Общий тон, окраска вдруг резко, ни с того ни сего сменились. Неужели только из-за какого-то университета? Музыка. Он по-прежнему много ее слушал, но она как-то вдруг перестала доходить до него, перестала задевать в нем что-то главное. Траву он тоже иногда курил, но как-то совсем уж случайно, машинально. Теперь только водка вместо портвейна.

А их тройственный союз? Что ж, формально никто его не отменял…

Он сидел на мусоропроводной крышке, загораживая собой питьевые инструменты — их он поставил на подоконник — для выходящих из лифта незаметно. Родители, уже, наверно, дома, уже достаточно поздно. Какому-нибудь идиоту наверняка понадобится вынести мусор на ночь глядя. Он двумя площадками ниже той, на которой его дверь, а если заворочается замок на площадке, где сидит он, он мигом спрячет обе бутылки в куртку, прижимая их руками к бокам, моментально выпьет воду в чашке, а ее саму сунет в карман. И будет якобы просто так стоять, курить; крайне неудобно так стоять, но мусор обычно выкидывают быстро. Потом опять все поставит на подоконник.

Он сразу налил добрых полчашки. Водку пить он так толком и не научился. Он не научился ее пить и пил как сок, только очень большими глотками, иной раз, кажется, глотка сейчас порвется. И всякий раз не мог не восхититься всей мерзостностью водочного вкуса, каждый раз подзабывал и думал, что, может, только в прошлые разы ему так казалось, но вновь и вновь убеждался, что нет, не казалось. Пить водку без запивки он просто не мог, он давился ею. И как бы ни был пьян, все равно не мог. Для него первая была — колом, вторая — колом, десятая — колом. Как-то раз, уже пьяный в хлам, в вестибюле бара, носившего название «Гадюшник», он, за неимением посуды, хлобыстнул водку прямо из горла и подавился ею, не мог отдышаться, чуть не блеванул, он

помнит чей-то сочувственный, понимающий голос: «Не пошла», помнит дружеское похлопывание чьей-то руки по спине, то ли чтобы помочь ему справиться, то ли приободрить. А вот бормотуху он мог пить прямо со ствола, сколько угодно, никакая закусь, никакой запивон были не нужны, противно, но терпеть можно — отчасти поэтому он ее все-таки тоже брал, портативнее все было, оперативнее. А он знал массу людей, которые ее не выносили, им надо было сначала приготовиться, долго сидеть, крестясь, потом ухнуть, судорожно запивать, багроветь, утирать слезы, переводить дух, закуривать, отходить. Зато водка для них была куда как более легка. А родители, их гости, любили хорошие сорта водок, вин, нужно им было посидеть, распробовать, обменяться мнениями, впечатлениями. Долго могли разговаривать, рассуждать на эту тему: «А в шестьдесят третьем году…», «А в семьдесят пятом…», «Тамянка», «Фетяска», «Стрелецкая», «Спотыкач», «Зверобой», несть числа. Одно перечисление заняло бы собой, наверно, целый конспект лекций. Он презирал все это. Ему нужен был це два аш пять о аш. Вот и все. А если винище, так чтоб сахару было поменьше — не так чтоб гадко.

Он налил полчашки и сидел, собираясь с духом. Ему доводилось видеть, как представители старшего поколения — не из числа гостей его родителей — пили водку стаканами. Он им удивлялся. В его кругу никто так не пил. «По интегралу» выпивали, может, и не меньше, но не такими жуткими скачками. Так, теперь немного помучиться, и сиди, жди. Сейчас тронемся, поплывем. Сначала должны появиться, разгореться искры в животе, он с удовольствием ощущал, смаковал их в себе, зная, что это уже почти отправка. Поволочет, обволочет… Конуру, в которую он неожиданно оказался загнан, можно на некоторое время оставить и побродить вокруг нее, погулять. Зачем здесь еще компания? Он закурил. Куря, уже пьяными, приятно чужими губами мял мундштук папиросы. Кайф, расслабуха…

Готово, этот тип выполз из своей норы. «Я же говорил, чтобы здесь не курили»! «Он говорил»! Этот тип чувствует, как в парадняке курят, дым поднимается к нему. Нервный дядечка. «Нет,

ну какого хера! Какого хера! Уж говорили тысячу раз, просили»! Плечо дергается. Ну, заплачь еще. Он слушал и вдумчиво кивал, с важностью и с некой сдерживаемой скорбью, как большой начальник, до которого дорвалась наконец какая-нибудь ищущая правды, истеричная, слегка уже ополоумевшая просительница. Он даже начал делать некоторые движения: вот мол, сейчас уйду. Интересно, что этот тип выходит не всегда. Он, наверно, не всегда одинаково чувствителен к дыму. Но проверено, что если достаточно поздно, то он уже не выходит. Может, спит. Можно подняться и этажом выше, но там родители… Или кто-нибудь из них как раз явится домой, или этот чертов мусор… Сейчас пока открыть окно, курить туда. Нет, ветер оттуда, холод. Ладно, курить по-быстрому, на следующей площадке. Этот тип скоро угомонится. В голове еще долго слышится: «хера, хера, хера». Очень мягкое «ххь».

Полчашки, полчашки, еще полчашки. Хорошо-о-о… Почти ничего не жрал с утра… Меньше надо… Экономнее…

Экватор давно пересечен. И кайфа уже не было, скорее, какая-то язва растравливалась в нем. Он как будто бы и пил, чтобы растравить, разодрать эту язву. Чтоб горело, болело… Он сидел, истекая какими-то внутренними слезами, какой-то сукровицей. На его участке мусор, слава богу, никто не выносил. Иногда выносили то на верхнем, то на нижнем этажах. Сквозь пьянь его это раздражало. Сколько можно возиться с мусором! Сколько лишних, бессмысленных движений они там делали, как будто нарочно топтались!

Открылся лифт. Из него вышел Друг, повернулся уже, чтобы пойти позвонить. Здесь у него жила… наверное, уже невеста. Что за дурь — жениться, тем более в таком возрасте! И на ком! Он свистнул со своего мусоропровода. Друг обернулся на свист. Нельзя было сказать, что он приятно удивлен. Но спустился. «Ладно, давай покурим, успеешь еще», — фамильярно сказал он, зная, что другу сейчас совершенно не до него. Стояли молча, курили. Вдруг он, как с цепи сорвавшись, полез друга обнимать, с удовольствием чувствуя, что сейчас разрыдается. «Пойми, у меня нет никого, кроме тебя, пойми»! Он взывал, он заклинал. «Один ты

остался»! Сейчас он действительно так чувствовал. Он тыкался лицом в куртку Друга — только что с дождя — и смачивал ее еще и своими слезами, заодно неуклюже пытаясь прижать Друга к себе. Он как будто действительно пытался удержать, остановить что-то. «Ну, ну, ну», — успокаивал Друг, иногда бросая взгляды наверх, — заклинания были весьма нетихими для уже позднего часа, но терпел, благородный человек, не пытался вывернуться из пьяных объятий, сам будучи абсолютно трезв. Долго он вис на Друге, смачивая его слезами. Друг мужественно терпел. Неизвестно, когда бы этому пришел конец, но тут вдруг открылась дверь. Друг резко отстранился, вскинул руку, прислушался, поворотя ухо туда, откуда был звук. Он смолк, пятясь, вернулся на цыпочках на свою мусоропроводную крышку, делая на ходу лицом п о н и м а ю щ и е знаки, вернее, уже гримасы; глаза у него были красные, хоть он и не разрыдался. На площадку вышла будущая невеста. Быстро глянув на него, Друг мигом взлетел к ней на площадку. Она негромко говорила ему что-то, похоже, выговаривала. У нее был маленький ротик, и когда она говорила, что-то было от рыбки в аквариуме. Как будто все время маленькое «о», «о», «о». Друг покорно, хотя и несколько нетерпеливо кивал, все, мол, все понимаю. Потом сказал быстро: «Ладно, сейчас» и спустился к нему. Он сидел на крышке мусоропровода, пьяно уронив голову на грудь, уставившись себе в ширинку. В бутылке оставалось совсем чуть-чуть. Друг молча докуривал. Потом сказал: «Ну, давай» и пошел к своей невесте. «М-м-м» — попрощался он с Другом.

«Да, наверно не стоило… На хрена я…», — подумал он вослед.

Бутылка пуста. В мусоропровод ее. Он медленно поворачивал голову, обводил взглядом стены, лифт, перила. Сидел еще долго. Иногда вдруг злобно смеялся, фыркал, хрюкал… Ладно, пора домой. Поссать напоследок в мусоропровод, чтоб прийти и сразу в койку. Бутылка из-под кефира, чашка. Гулко ссытся в мусоропровод, но ничего, уже поздно. Домой… Ик-к-к!

Он что, чего-то ждал? Ему что, чего-то обещали? Да, конечно, ждал. Конечно, обещали. А чего он ждал?

Ненаписанных контрольных скопилось уже много. Страшновато

становится.

«Не то, не то! Какая-то херня поехала! Чего мне подсунули?!»

С самого начала все пошло как-то не так…

Было первое нешкольное сентября. Он пришел, как сказано, к девяти двадцати пяти, не мог найти свою группу, потом набрел на непривычное, не сразу понятное расписание и увидел, что первой пары для его группы нет, надо было приходить ко второй, все, наверно, и пришли. Домой на полчаса идти смысла не было, и он остался ждать второй пары, не зная, чем бы на это время себя занять. В храме науки ему было неуютно. А перед этим было торжественное собрание, заиграл гимн Советского Союза, парень рядом сказал: «Что-то знакомое», все ушли приподнятые и праздничные, и он ушел приподнятый и праздничный. А сейчас он ждал второй пары. И эта пара была — программирование, опять не то. Ему бы сразу математики, формул и интегралов. А тут — какое-то еще программирование… Он отсидел это программирование, все там было очень скучно. А больше пар не было, и он пошел домой. Первого учебного дня как бы не было, ерунда какая-то была. Пришел домой как-то очень рано, до конца дня оставалась еще уйма времени, и он не знал, что с ним делать. Вот и все.

Отношения с одногруппниками у него не сложились. Даже не то что не сложились, а их просто не было. И чем дальше, тем вернее он чувствовал, что не сложатся они никогда. Собственно, ни с кем из его группы, да и вообще, ни с кем из его курса, его сближаться и не тянуло, но все равно было почему-то обидно. Наверно, он их представлял какими-то другими, более для себя подходящими. Тем более, после своих одноклассников… А одногруппники были такие веселые, такие открытые жизни, быстро знакомились, уже, глядишь, договаривались о встречах, уже, глядишь, обсуждали общее веселье, в котором участвовали. Ему они все казались до одури, до смертной тоски заурядными, неинтересными, пошловатыми. «Ленка, Димка»…

Была и еще категория сокурсников. Выпускники матшкол, этакие блестящие молодые люди. До этого он слышал, что

математики иногда бывают довольно убогинькими с виду, даже чокнутыми. Но среди этих — ничего подобного, ни одного такого, наоборот, все как на подбор — рослые, ражие, румяные. Чокнутые — какое там! Довольные собой аж до умопомрачения, гогочущие, грегочущие. Прямо фрицы, входящие в русские деревни в начале войны. Держались вместе — многие были одноклассниками. Среди них выделялся такой Васильев — победитель международной олимпиады. Считался самым крутым. А он и Васильева-то этого, самого крутого, с трудом различал, настолько он был похож на остальных, ему подобных. Разумеется, к этой категории его влекло еще меньше, чем к остальным. Хотя потом изредка приходилось пересекаться.

Был еще один — с фамилией Крайслер, тоже считался очень крутым, чуть ли не вровень с Васильевым. Тоже был высокий, широкий, хотя и тощий. Лоб несколько козырьком, рыжеватый какой-то мужественной, скандинавской рыжеватостью, нос чуточку свернут набок, подбородок, опять-таки мужественный, хотя и слегка кривоватый. Какой-то совсем не математический вид. Держался одиноко, диковато. Впрочем, своя компания была и у него, стояли небольшой кучкой в углу, курили. Он один раз прислушался — оттуда донеслось: мать, мать, мать. Хотя разговор шел о математике. Хорошо ругались, — нормально, не то что эти, а ля Васильев, от их мата, мата маменькиных сынков, становилось ну до того неловко, прямо хоть уши зажимай.

На занятиях он чувствовал себя совершенно здесь лишним, неуместным, нелепым. Сам факт, что он ходит на эти занятия, сидит за партой, пишет, бывает у доски казался ему дурацким, затянувшимся недоразумением. Особенно тягостно ему было бывать у доски. Всякий раз, когда его вызывали к доске, он был как бы слегка удивлен: чего ты ко мне привязался? Одногруппники тоже что-то такое в нем почувствовали и прекрасно без него обходились, его это несколько уязвляло, хотя казалось бы… Чем дальше, тем отдельнее он становился. К тому же выяснилось, что здесь без всяких последствий можно прогуливать занятия; убедившись в этом, он стал проделывать это все чаще. Потом уже

настолько часто, что всякое его появление на занятиях воспринималось в группе как некий курьез. Староста группы, отмечавшая посещаемость, даже как-то сказала ему: «Слушай, ты бы почаще все-таки появлялся… Мне-то все равно, но ты понимаешь»… Чувствовалось, что ей было неловко. Ему и самому было неловко. Слишком уж он здесь всех опередил.

На лекциях поначалу было скорее интересно. Он с удовольствием смотрел на лекторов. Они были разные, но во всех в них чувствовалась порода, принадлежность к некой касте. Это внушало ему уважение. Нравились их слова: «рассмотрим», «существенно», «тривиально». А то, что читали на лекциях, было полузнакомо и, в общем, понятно. И даже, можно сказать, тривиально. Пока один раз он не зашел на лекцию и не убедился, что ни черта не понимает. Это его тогда встревожило, он подумал, что надо бы с этим разобраться. И отложил разбирание на потом. Прогуливать лекции было безопаснее, чем семинары, и основное количество его непосещений падало на лекции. Точнее, на лекции он просто перестал ходить, — чего туда ходить, если все равно ничего не понимаешь? а на семинары все-таки заглядывал.

Странно, что он по-настоящему даже не вспомнил, что вроде как с детства собирался стать математиком. Более того, как-то само собой подразумевалось, что он им станет. Как-то странно он им становился…

Его пригласили на «деньрожденье группы». Оно состоялось далеко не сразу после первого дня занятий, и его бы наверняка не пригласили, если бы не некая обязательность этого мероприятия. Так, во всяком случае, он подумал, когда получил приглашение.

Он явился к назначенному часу. Состоялось мероприятие на квартире у одной из одногруппниц, в городе. Ему вежливо обрадовались, пригласили сесть. Что-то было еще не готово, хозяйка ходила из комнаты в кухню. Он пробрался на свободное место, вежливо улыбаясь и вежливо извиняясь, и стал ждать. Все было очень непринужденно, по-свойски. Непринужденный, свойский разговор; в одном конце стола кто-то что-то скажет, в другом конце кто-то откликнется; так и шло само собой. Как они, однако,

уже успели друг друга узнать… Он сидел под перекрестным непринужденным разговором и казался себе чужим, лишним; ему казалось, что и остальные воспринимают его именно таким и только из деликатности его терпят, да и порядок таков — если день рожденья группы, то любого, кто учится в этой группе, нужно пригласить. Скорее всего, он все-таки преувеличивал. Сидеть становилось все тягостнее. Он приуныл. Принять, что ли, участие в общем разговоре? Он приготовил среднего качества остроту, но все никак не мог решиться представить ее свету; протомясь некоторое время, он отказался от этой попытки. А на столе-то было спиртное. Он даже удивился, когда увидел его, мгновенно, впрочем, поняв, что все правильно, когда в з р о с л ы е люди собираются вместе на какое-то торжество, на столе всегда стоит что-нибудь спиртное. Вот и его родная водярка. Такой родной, п о н и м а ю щ е й показалась ему ее наклейка. Что ж, раз есть водка, почему бы ее и не выпить, неважно, при каких обстоятельствах. «Ну что, вздрогнули?» — сказал, обращаясь к нему, одногруппник напротив; он уже и бутылку открыл, и по рюмкам разлил. Водку, кроме них двоих, тут никто не пил, остальные потягивали винишко. Он обрадовался, что к нему так запросто обращаются, как свой к своему. Действительно, относились к нему, наверно, гораздо проще, чем он думал. Под действием водки он несколько размяк, тягостности уже не было. Сидел да подливал. Не закусывал, разумеется, — меньше надо. Его визави не отставал от него, скоро, впрочем, переключился на полрюмки. Что ж, тем лучше. Себе он наливал по полной.

Между тем атмосфера становилась все более доверительной. Большой свет не горел, вместо него горели не то свечи, не то ночники. В руках визави появилась гитара. Начался вечер песен. Визави знал их много; пел и туристские, и про каких-то поручиков, и какие-то кабацко-блатные, и что-то про Афганистан. Во время одной все даже подпевали хором, чувствовалось, что это общая любимая песня, один он ее почему-то не знал. Он сидел, не пел, а только пил. С удовольствием чувствовал, как оплывает, отекает у него рыло, время от времени проводил уже чужой ладонью

по уже чужому лицу — пьяный, он всегда любил это делать, лишний раз удостовериться. Как-то хватанул целую стаканюгу винишка, с удовлетворением обнаружив, что оно не такое уж слабое. Выходил курить на балкон. Было уже здорово холодно, но курил он быстро — можно было вытерпеть.

Потом были танцы. Комнат было достаточно, и танцы происходили в соседней комнате. Водка кончилась. Он сидел один за столом, в интимном полумраке, и пьяно, тяжело, тягуче размышлял, не попросить ли у хозяйки еще водки, и не будет ли это неудобно. Понимал, что, разумеется, неудобно, но водки добавить хотелось, и он все размышлял. Потом заблудился, разыскивая туалет. Потом с кем-то попрощался или даже с двумя и пошел.

Отец говорил, что студенческие годы были лучшими в его жизни. И еще кто-то говорил… Чуть ли не все так говорили. Но с ним, он чувствовал, здесь произошла какая-то ошибка. И он начал все больше пить, сам того не замечая. Ведь и раньше они порядком пили. Но тогда о н и пили, а теперь о н пил.

«Ну почему стало так все херово? Ну что, что случилось»?!

Осень выдалась спокойная. Дождей почти не было или шли они ближе к ночи. Небо было ясное, белое. Глядело только чуть подслеповато. Но ведь только летом оно раскрывает для тебя свои необъятные объятья. Погода позволяла, и он часто совершал паломничества туда, где они когда-то сидели на камнях. Чаще с бутылкой. Сидел на этих камнях и медленно пил. Смотрел на пепелища старых костров — и тех, которые жег когда-то кто-то еще, и тех, что жгли когда-то они. Раз, допив бутылку, он вдруг припал к камням и принялся их целовать. Целовал он их долго, даже когда надоело, он упрямо целовал их и целовал. Потом песок хрустел на зубах, и было долго не отплеваться. То, последнее лето, не отпускало его. Тогда оно казалось ему увертюрой, прекрасным началом. И он никак не мог поверить, что на самом деле оно было концом.

Свободного времени образовалось много. Делать уроки было не надо, ходить в школу — почти тоже. С утра он ходил в

университет, но домой старался возвращаться пораньше, поскорей выбраться. А дома не знал, что с собой делать. Родители иногда спрашивали: «Ну, как дела?» Он отвечал: «Нормально». Впрочем, приближалась сессия. Порой он с тревогой думал, что пора бы что-то начинать делать. Но в основном старался об этом не думать.

А астрономический год, между тем, медленно, но неотвратимо въезжал в зиму. Был уже ноябрь. Рано темнеет. И дождь идет за дождем. К камням уже не пройдешь сквозь грязь и темень. И он все больше стал утверждаться на мусоропроводной крышке.

Сессию он сдал. Оценки были: 4, 4, 3. Сессия здорово его напугала — и даже не из-за того, что, вылетев, он загремел бы в армию, но, просто, — вылететь из университета — это его безотчетно страшило, сразу бы сломало все привычные представления о себе. Ведь он же должен, в конце концов, стать математиком. В университете он ничего не делал, но все же… как-то…

Потом был нескончаемый, невыносимый, высасывающий все живые соки февраль; мерзкий, грязный март; холодный, голый апрель. Потом май — «пробуждение природы». Пробуждения природы он не заметил. Летнюю сессию он сдал лучше — без троек. Он уже понял, как ее надо сдавать, то есть когда наступает время спохватываться. И на этот раз ее почти не боялся. Он вообще как-то свыкся быть студентом, то есть ходить в университет и выполнять определенные требования. Просто свыкся.

На лето он ездил куда-то отдыхать вместе с родителями. Потом еще месяц был дома. Этот месяц — август — был для него особенно запойным — трезв он бывал раза два в неделю. И нередко опять пил в компаниях, на какое-то время пьянки там опять приобрели некоторую прелесть. Лето все-таки как-то оживляло его, так было всегда. Хотя курица не птица, август — не лето. И он привычно приятно проводил время. Оба Друга тоже были на каникулах. Иногда ему даже казалось, что все действительно осталось по-прежнему.

Нет, не казалось. В самой глубине души он понимал, что то время ушло безвозвратно; время, когда можно было беззаботно

предаваться удовольствиям, зная, что настоящая жизнь, когда и с тебя что-то потребуют, не наступила. В самой глубине души он знал, что пьет уже не на свои. А аванс он уже пропил. И какая-то гадость, какая-то отрава накапливалась и накапливалась в нем. Он и пил-то, чтобы не ощущать в себе постоянно эту отраву. Отдохнуть.

И было еще кое-что. Чего не было раньше. Он различал, крайне смутно, крайне неясно, но различал что-то такое впереди, что стоит и поджидает его, и рано или поздно встреча с *этим* состоится. И он чувствовал глубокий, бессознательный страх перед этой встречей, понимая, что избежать ее невозможно, и он неумолимо, что бы он ни делал, приближается к ней. Почему боялся? Потому что эта встреча не обещала быть приятной. Не обещала.

Но что *это* было? Что? Он не знал, не понимал. И бессознательно стремился понять, он как будто и жил в *ожидании понимания*, застыв в ожидании, в нетерпении. Но одновременно и боялся этого понимания. И судорожно, инстинктивно, тащил себя назад подальше от *этого*. И еще он знал, что это – не для всех, а только для него одного.

Заглянуть бы в конец, как в книге, узнать развязку. Узнать отгадку. Этой загадки. Его жизнь – это, с самого рождения и до сих пор, – и есть загадка. А отгадка… Она будет впереди. Будет, будет, не беспокойся. Все, все узнаешь.

Пополз второй курс. Все то же самое, привычное. Грустный сентябрь, дрянной октябрь, страшный ноябрь; не оставляющий место надежде декабрь. Год, как известно, начинается осенью и кончается летом.

«Не то, не то… Дни проходят бессмысленно и бесцельно».

Дни проходят бессмысленно и бесцельно. Эту где-то когда-то услышанную фразу он стал повторять про себя чаще и чаще. Она как будто что-то говорила ему и объясняла, ничего не объясняя. Почему-то ему доставляло своего рода удовольствие ее про себя повторять. А давно позабытые приступы хандры, страхи смерти вернулись. Постепенно, незаметно; он даже их не узнал, настолько

забыл. А ужас смерти мог вдруг вспыхнуть, ударить в любое время, в любом месте. Чаще ночью, как и раньше, давно. Как-то раз он додумался, что жизнь бессмысленна. Тысячу раз он слышал эту фразу, но сейчас он вдруг понял, что это — истина. Трагедии не было, была легкая глупая оторопь. Что делать с этим открытием, он не знал. Надо было все равно как-то жить. Недели две он просыпался с мыслью: «А жизнь-то бессмысленна»! Эти дни он ходил какой-то шальной и как-то плохо понимал что видел вокруг. Зачем это все? Видел себя со стороны, и тоже не понимал, чего это он ходит, что-то говорит. Он сам был частью общей окружающей бессмыслицы, точно такой же, как и все остальное в ней. За это время он даже ни разу не нажрался. Почему-то даже нажраться не тянуло, раз жизнь бессмысленна. А потом и это чувство прошло. Или он глубоко усвоил его, привык к нему, или просто забыл.

Он взялся было за чтение разных умных книжек. У отца их было много. Он и раньше кое-что читал, да и отец ему порядком пересказывал. Когда-то ведь он был развитым ребенком. Он даже не читал их, проглядывал, как будто надеясь найти в них что-то про себя. Порой даже чувствовал: это близко. Но… Все это были намеки. Намеки, намеки, только намеки. От этого чтения мало что оставалось в голове, какие-то общие впечатления, ощущения… Как будто сплошной туман кругом, и вдруг вспыхнет рожица, подмигнет тебе, — ты туда, кажись то, но рожица исчезает или окажется не рожицей, а пнем. Или кто-то дернет сзади за хлястик, ты оборачиваешься, — а там никого.

В глубине души, как это ни странно, несмотря на то, что некоторые книжки он проглядывал достаточно ревностно, он не надеялся найти там ничего для себя. Само количество этих книжек говорило, что дело это — безнадежное. Он чувствовал, что все должно быть просто, ясно; если это не ясно сразу, то это не станет ясным никогда, сколько книг еще ни прочитай. Что-то должно соскочить, соскользнуть в его душе, какая-то зацепившаяся за что-то скоба, и сразу наступит облегчение, ясность, окажется, что конура, в которой он сидит, ему всего лишь померещилась. Но нет, она ему не мерещилась.

И еще одно: все эти книжки были, так сказать, «общего пользования». А его интересовал он, только он, только его жизнь. Например, он никогда бы не спросил: «Для чего человек живет?», а только «Для чего *я* живу?», или не «Что человеку нужно для счастья?», а «Что *мне* нужно для счастья?» Так, и только так.

Но никогда он не был, как ему казалось, так близок к цели, как когда читал Толстого. Ему чудилось какое-то глубокое свое родство с Толстым. Он прочитал статьи, трактаты, дневники.

«Я что, ищу смысл жизни? Но я же знаю, что никакого смысла жизни нет. Да и вообще, зачем он нужен? Кто его вообще придумал? Трава зеленая, какой в этом смысл? Кому-то придет в голову спрашивать, какой в этом смысл? Во всяком случае, одного на всех смысла быть не может. Да меня и не интересуют все, меня интересую я. Что происходит со мной? Все происходит не так, хотя, казалось бы, все так. А в чем тут дело — непонятно. Непонятно и непонятно. А что я, в конце концов, хочу? Самого главного. Ведь в этом-то все дело. Скажи мне, что ты хочешь, и я скажу кто ты».

Что я хочу? Проще вопроса, как казалось ему, не бывает. Но ответа на него он не мог дать, как ни напрягался, как ни чувствовал порой, как напрягаются, наливаются кровью у него мозги. Мысли куда-то разбегались. Но мусолить все какое-то одно и то же он не бросил. Что это за одно и то же, он и сам бы не смог объяснить — что-то такое крайне неясное, смутное, хотя на ощупь, на вкус прекрасно, лучше, чем надо, его чувствовал. И все мусолил его и мусолил.

«Что я хочу, я не могу сказать. Однако все рассусоливаю над какими-то ненужными вещами, хотя чего над ними рассусоливать, если на главный вопрос я не могу дать ответ. Я что, думаю, что есть какой-то общий закон, который я должен постичь? Что есть какая-то мудрость, и если ею овладеешь, то поймешь, наконец, как надо жить. Впереди для тебя откроется ясный светлый путь. Будешь с песней по жизни шагать! Да нет такой мудрости»!

Однако он и сам до конца не верил в то, что сам себе говорил. Наверно, уж очень ему хотелось, чтобы была какая-то

мудрость, или даже *учение*, которым стоит только овладеть, точнее к нему *примкнуть*. И он будет очень хорошо себя чувствовать. И отрава куда-то денется. В самом деле, очень уж соблазнительно это было: прочитать, выучить какую-то книжку, и все у тебя в порядке. Когда-то ведь он хорошо учился, даже и сейчас прилично сдавал экзамены, так что для него это был очень хороший, легкий, привычный путь. Всегда хочется на кого-то свалить. Кстати, и для этого он листал умные книжки. Уж больно был велик соблазн.

Но он еще и думал, что может своим умом *дойти* до хорошей, правильной жизни для себя. Надо хорошенько постараться, поднапрячься, и ты поймешь, в чем она заключается, как *следует* жить, чтобы было *хорошо*. Он привык думать, считал себя умным. И считал, что если хорошо подумать, то додуматься можно до всего, было бы желание. Тем более, такому человеку, как он.

Но самое смешное, что и в это он не верил. А верил он в то, что думать здесь нечего. Это должно даться, прийти само собой. Легко, *естественно*. Считая себя умным, даже гордясь этим, он, однако, как это ни странно, в глубине души презирал ум. Он презирал все, до чего можно додуматься. Уважал он лишь то, что может снизойти, осенить, озарить. Без всякого твоего ума. А просто умным, он считал, если захочет, может стать любой. Если часто встречаются глупые, то это только потому, что они *не хотят* быть умными, им это почему-то *не надо*. Ну, может есть какие-то богом убитые. Есть же горбатые, глухие, одноногие.

Ум — это само собой, как две ноги. А вот что дальше, вот, где начинается самое интересное…

Он не верил, что можно умом дойти до правильной, хорошей жизни.

Но он верил, что можно умом дойти до правильной, хорошей жизни.

«Жизни не нужен смысл. Траве не нужен смысл. Да, это так. Но меня не устраивает это. Может, он ей и не нужен, но *меня* это не устраивает. Трава растет сама собой. А я не могу расти

сам собой! Я не могу жить просто так, для себя. Мне нужно о п р а в д а н и е своей жизни. Не знаю зачем, ниоткуда это не вытекает, но мне это н а д о . Я должен отчитываться перед кем-то, почему я живу. Почему я имею п р а в о жить. Я беру о т в е т с т в е н н о с т ь за то, что живу. И с этим я ничего не могу поделать. Другим, может, это и не надо. Может, правда, и надо, но хрен с ними! Я одно знаю, что м н е , м н е это надо!

«А почему в последнее время в голове все вертится какая-то «правильная» жизнь? Я что, хочу жить как-то «правильно»? Да, я хочу жить правильно. В детстве мне казалось, точнее я был уверен, что живу правильно. Я привык к этому, и теперь не могу привыкнуть к тому, что живу неправильно. А живу я неправильно, это совершенно ясно. Живи я правильно, я бы и чувствовал себя по-другому. Но как же жить правильно? Слушаться папу и маму? Наверно, раньше оно так и было. Но сейчас я не знаю, как жить правильно. Я только знаю, что сейчас живу неправильно. А как правильно жить, я не знаю.»

Он, кажется, был уверен, что существует п р а в и л ь н а я жизнь. И ее надо найти. А если не нашел – значит плохо искал.

«А может и нет никакой правильной жизни. Это детская иллюзия, одобрение мамы с папой. А я настолько к этому привык, что никак не могу отвыкнуть. А правильной жизни никакой нет».

Думать так было страшно.

«Но я же чувствую, чувствую, что она есть. Какая-то да есть. Почему? Потому что очень хочется? Нет, все равно, я чувствую, чувствую»…

«Но самое же главное, это понять, чего я хочу? Тогда при чем здесь правильная жизнь? Пойми, что ты хочешь, и делай это, а правильная там у тебя жизнь или неправильная, какая разница? Дело вовсе не в этом».

«Но что я хочу, этого я и не знаю. И нужна ли правильная жизнь, тоже не знаю. И даже не знаю, существует ли она. А что главнее, делать, что ты н а с а м о м деле, б о л ь ш е в с е г о хочешь, или жить п р а в и л ь н о ? А может, это одно и то же»?

«Что, Амундсену нужна была какая-то правильная жизнь? Ему

полюс был нужен. А маршалу Жукову? Победа. Плевать на все, плевать на себя. ЭТО ДОЛЖНО БЫТЬ СДЕЛАНО! Точка».

«До чего же я додумался»?

«Ни до чего».

«Ничего не ясно, ничего не понятно. Что я на самом деле хочу, я не знаю. Нужна ли правильная жизнь… тоже не знаю. Что важнее — не знаю».

Каждый раз он возвращался к одному и тому же: непонятно. Непонятно, непонятно, непонятно. Где она зарыта, эта собака? Как будто он все время силился порвать какой-то обруч. Тужился, рвался, но обруч — вот он.

Он уже и забывал, откуда начались рассуждения, зачем они велись, он только тужился и рвался, уже не думая, зачем, к чему…

«В моей жизни нет цели. Да, в этом все дело. Если нет цели, пусть будет хотя бы смысл… Хотя что такое цель жизни? Это ведь и есть, что я на самом деле хочу? А как понять, что я на самом деле хочу? Может, и всей жизни на это не хватит? Или все время будешь принимать то одно, то другое за это самое? А вдруг нет этого «на самом деле хочу»? Каждый уткнулся во что-то свое и делает, не задумываясь, не оглядываясь. Но, может, смысл важнее цели? Черт, опять я про то же самое! Опять все та же херня лезет в голову»!

«Слова, слова, слова… Как много в мире слов! И оттенков их: они-то и сбивают с толку; нашел какое-то новое слово и думаешь: вот оно. А потом видишь, что это все то же самое, только названо по-другому. Трясина».

«Нет, это просто гениально: все время что-то думать, думать, и абсолютно ни до чего не додуматься! Абсолютный, голый ноль в результате! Я себя, кажется, умным считал»?

Он шатался по университету, не зная, куда приткнуться. Он все думал, пойти ли ему на пару или отправиться домой. Но это было так, побоку. Мозги не могли успокоиться и все думали и думали, как жернова, перемалывающие что-то, непонятно что. Ничто не могло их остановить. Сейчас бы выпить, размягчить мозги, отмякнуть… Но денег нет. А так непонятно, что делать дома. Он

уже заранее представлял, как будет маяться там и изнывать. Здесь ему тоже все осточертело, и здесь тоже скука, маята, но дома все равно рано или поздно окажешься. Решил пойти в буфет. Куда еще было идти?!

В буфете он сидел и ел две сосиски с хлебом. Еще перед ним стоял жидкий сок, отдающий водопроводом, в нем плавали маленькие волокнистые кусочки вконец разварившегося, желтого мяса. За столом перед ним сидели девицы. Две из них симпатичные, он машинально отметил. И одна что, вроде поглядывает на него? Ему было наплевать. Он старался подольше растянуть сосиски, чтоб подольше отсюда не уходить — это было хоть какое-то занятие, мозгам отдых. Еще недавно от любой хорошо обтянутой, хорошо показанной задницы у него перехватывало дыханье. Сейчас ему с таким же успехом можно было показать газовую плиту, чтобы он завожделел к ней.

Стоял на этом просторном месте, где входы в аудитории для лекций. Бродил по периметру. Он чувствовал, как тяжелая, мутная, какая-то угарная ярость поднимается, закипает в нем; он чувствовал, как она жжет лоб, виски, режет глаза. Никак не избавиться от нее, не дать ей выход. Захерачить бы ногой по чему-нибудь, чтоб разлетелось. Да тут и не по чему. Да это и не поможет. Башкой своей гребаной об стену если разве. Помогло бы. Он бродил, стоял, точно так же, как и остальные здесь. Он наблюдал за ними. Отошел в угол, закурил. На середине папиросы вдруг почувствовал, как ему смертельно, до тошноты надоело всеобщее мельтешенье, хотя народу было немного. Вход в магазин «Академкнига», входят, выходят. Надо пойти поискать пустую аудиторию, посидеть там одному. Он шел по коридору и открывал одну дверь за другой. Везде народ. Две чистенькие девицы вскинули старательно склоненные головы от своих тетрадей. Чуть ли не белые бантики у них на затылках. А так, кроме них, никого в аудитории. М-м-мать их. Он пошел на другой этаж. Там аудитория наконец нашлась. Он пробрался между рядом стульев и рядом столов поближе к окну, свалился на один стул. Тишина, слава богу. Из коридора только невнятный, немешающий шум. Он лег лбом на стол.

Он смертельно устал от этой мутной ярости, очень быстро она высосала его. Поспать бы что ли… Не заснешь… До пары сколько еще? Этот тип наверняка скажет что-нибудь ехидное…

«Абсурдность существования… «Абсурд», «абсурд». Повторяют друг за другом как попугаи. Я уж скоро блевать буду от одного этого слова. Ты когда-нибудь видел з а к а т ? Или утро в сосновом лесу? Хорошенько так видел? И думал тогда об абсурде? Если ты скучен, бездарен, и поэтому тебе некуда приткнуться, то так и говори. Что ты здесь еще философию разводишь? «Абсурд»… Дурачок… Или, видите ли, я был воспитан в строгом католицизме, а потом усомнился в существовании Бога; современная жизнь, видите ли, к этому располагает; и так и не смог привыкнуть к тому, что Бога, наверно, нет, и мне теперь, видите ли, жизнь не в жизнь, не привыкнуть все никак. Ну что ж, все ясно. Ты бы все бы так и рассказал. Я бы тебе посочувствовал. Не философствуй только, Христа ради. Повода нет, ну ей-богу! Три фразы, а дальше и так все понятно!»

В церкви стояли ряды гробов с покойниками. Отпевание еще не началось. Батюшка, вылезающий из легкового автомобиля, его дюжий молодой подсобник, его поповская борода, молодая, свежая, как и он сам. Его внимание привлек уже немолодой, прилично одетый покойник. Какое-то скромное достоинство угадывалось в нем, достоинство человека, ничем особым себя не проявившего, но зато честно прошедшего свой скромный жизненный путь; а зеленоватость, какая-то даже бронзовая окисленность провалившихся щек, еще больше располагала к нему, заставляла войти в положение — раньше бы он, конечно, ни за что бы такого не допустил, но теперь что он мог поделать?

«Мало того, что исчезнешь, так еще и в ящике придется полежать, с зелеными щеками».

Плотная толпа родственников. Не дожидаясь, пока начнется, он ушел из толпы, из церкви.

Как пусто, бедно, блекло в церкви! Убожество, нищета, нищета как будто воплотились там. Как будто ты уже наполовину помер. Его всегда мутило от церквей. «Не надо», — хотелось

сказать кому-то. Они, наверно, нарочно там так все устроили, чтобы было не страшно сделать следующий шаг. Такую жизнь, действительно, не стоит беречь.

«Что нужно было сделать с человеком, как над ним измываться, чтобы он на карачках с а м сюда приполз!»

Он вышел на шоссе. Даже не моросит, хороший день. Чисто, пусто. Он вздохнул полной грудью. Трамвайные провода на фоне неба, новостройки вдали, пустое пространство, а там, с краю, уже начинается лес, черный и густой издалека. Потом он долго ехал в метро. В вагонах был полумрак и мало людей. Входили и выходили редко. Никто не разговаривал.

«Нет, не выдержать мне этого Бога. Лучше рано или поздно решиться, чем спасаться таким способом. Преодолеть несколько секунд страха — и вот тебя уже нет, а так, это еще страшнее, еще ужаснее. Все-таки, оказывается, есть что-то еще ужаснее смерти. Это — вот такая, ц е р к о в н а я жизнь. Издевательство, уродство. Гнусное извращение».

«Но многим не западло. Жить готовы любой ценой, цепляться за свою жизнь. В жопу дать готовы, лишь бы жить».

«Вообще, правильно. Мир слишком могущественен, чтобы пытаться его изменить. Зато можно попытаться изменить себя. Это вроде как легче. Тем более, действительно, другого выхода нет. Значит, если тебе плохо — сам виноват. Попытайся исправиться. Еще плохо — опять виноват. Еще попытайся. Вот тебе и занятие на всю жизнь. Где-то я читал или смотрел: девчонка трет пол шваброй. Забитая девчонка. Ей что-то говорят, она трет быстрее. Еще говорят, она еще быстрее трет. И говорят-то совсем не про то. Но та ничего уже не соображает. Это и есть христианин. Идеальный».

«Ходить в церковь — это как все время тереть пол шваброй. Главное — все время. Да, и опять же — вот тебе и п р а в и л ь н а я жизнь. Ты ничего не любишь, поэтому ничего не хочешь. Ц е л и в твоей жизни нет. Нет того, что должно быть с д е л а н о любой ценой, и плевать на себя, плевать на все. Да, действительно, получается, что Бога любит тот, кто ничего не любит. Ну,

разумеется, кроме себя, единственного. И для него ничего не остается, кроме как правильно жить. То есть пытаться правильно жить. Все время грешить и каяться. Чем он слабее — тем больше подпорок нужно. Тем сильнее надо тереть пол тряпкой».

«Кто думает о бодуне, раньше, чем выпьет — христианин».

«Впрочем, я и сам такой».

«Бог тут ни при чем. Христианин — это психологический тип. Неверующий христианин — самое обычное дело. Как Толстой, как Достоевский».

«Хотя есть какие-то католические философы. Тоже ведь христиане. Крепкий, похоже, народ. Ясный. Не как та девчонка. Не то что наши, сопливые… Впрочем, я и наших-то плохо знаю. Может просто не на тех напарывался…»

«Уф-ф, ладно. Хрен с ними со всеми».

«Нет все-таки… Посмотрите на меня, я исцелился! И теперь проповедует, как он исцелился. Гундосым голосом сифилитика, с провалившимся носом. Ты проповедуешь, а я слышу только смрадное дыхание из твоего рта. Исцелился ты, говоришь? Да ты на себя в зеркало смотрел?!»

«Да и вообще никакого Бога не надо. И смысла не надо, и цели. Нужно, чтоб были папа с мамой. Единственный грех — их рассердить. Если они что-то одобряют, то это и есть правильно, иначе и быть не может. А ты живи себе спокойненько. И любят они тебя безгранично, в этом ты уверен. И защитят от всего. Невозможного нет. То, что невозможно, тебе и не приходит в голову желать. Как хорошо… А мой миокардит? Может быть, тогда я впервые понял, что не от всего родители могут защитить? Может, он повлиял на меня сильнее, чем я думаю…»

«А эти еще говорят: раз мы так сильно хотим, чтоб был Бог, значит он наверняка есть. Если бы его не было, мы бы и не хотели. Ну, нет… Просто когда-то ты в него верил, просто не подозревал об этом, может, и слова такого не знал. Родители тут могут быть и ни при чем, это не важно. Но ты был там. И ты это всегда помнишь, хотя бы бессознательно. Где — там? Неважно — там. И тебе опять хочется попасть туда, куда, ты и не

знаешь. Но забыть ты этого не можешь. И тебе страстно хочется попасть т у д а . Но не больно-то попадается. А Бог — это всего лишь псевдоним этого какого-то т а м».

«А хотеть ты можешь лишь того, что хоть о д н а ж д ы испытал. Неизвестного хотеть ты не можешь».

«Бог… К Богу… Мой Господь… Задрали со своим Богом».

«Знаешь мои мысли наперед? И что, это так уж трудно? Как из карцера тебя приволокли, а он, ментяра, сидит перед тобой, ухмыляется: знаю я, мол, что ты сейчас думаешь. Да после карцера все думают одно и то же! Поменяйся мы с тобой стульями…»

«Засадил в карцер и радуется, какие теперь стали все одинаковые!»

«Жлоб входит в трамвай, здоровый сука, дюжий. Че, ссыте? Конечно, ссым. Как тебя, мордоворота такого, не ссать? А ты горд собой, пидор. Для тебя это — альфа и омега, что все ссат. Твоему жлобскому пониманию не доступно, что есть что-то еще, другое. Кроме как «ссат — не ссат».

«Сделать тебе все равно ничего нельзя. Таких нужно не замечать, подавляя в себе брезгливость. А он ходит, рыщет, ищет, к чему бы прикопаться. А ты че, чем-то недоволен, что ли, а? Слышь, ты! Тебе говорю! Не уважаешь, что ли?! Надо молчать, молчать, опустив глазки. Но он все равно догадается. Они, жлобы, на этот счет догадливы. Единственное, на что они догадливы».

Но отношений с Богом он все-таки рвать до конца не хотел. На всякий случай не стоило. А Бога оскорбить нельзя, если он, конечно, действительно Бог, а не человек.

Когда подошла его очередь входить, ему повезло, ему достался пожилой, седой профессор в очках, производивших впечатление пенсне. Большая удача, но так как он уж совсем ничего не знал, то и она вряд ли смогла бы ему помочь. Подготовившись, он принялся отвечать, тоскливо думал о том месте, начиная с которого он ровно ничего не понимал, хотя и успел все содрать. Это место было очень близко к началу ответа. Он, прокашлявшись разумеется, начал спокойно, не торопясь, разъяснять обозначения — то, что еще понимал. Однако и здесь он

нарвался на неожиданность.

— Как вы обозначаете детерминант? — предупредительно спросил профессор. У них обычно говорили «определитель». Профессор назвал его детерминантом, на старый манер.

— Дет А, — угрюмо ответил он, тоже с какой-то вопросительностью в голосе. Как будто ответ начинался с «Ну».

— А где две черты? — все так же благожелательно продолжал интересоваться профессор.

«Ну че тебе надо, пидор мокрожопый», — с тоской и ненавистью думал он, глядя в доброе, интеллигентное лицо профессора. «Отвращение росло в нем с каждой минутой».

— Да какая разница… И так можно и так, — проговорил он, опуская глаза в свои бумаги.

— Виктор Григорьевич! — вдруг позвал громкий, секретаршеский голос. В аудиторию просунулась голова.

Профессор немножко заметался.

— Вы тут… Я ненадолго.

— Виктор Григорьевич, — почтительно, но властно окликнул кто-то из глубины аудитории, — я приму у него.

— А, прекрасно…

Профессор встал и, бросив на него прощальный взгляд, как бы извиняющийся, но вместе с тем и как бы заверяющий его, что его преемник будет не менее достоин принять у него экзамен, спешными шагами пошел к двери.

«Твою мать…» — подумал он. Принимать экзамен будет у него тот, к кому больше всех боялись попасть: тут уже никакое чудо не спасало. Это был доцент с внешностью шоферюги или чего-то в этом роде; на перерывах он в одиночестве курил в углу с ничего не выражающим выражением лица. Он всякий раз на мгновение удивлялся, не обнаружив на нем сапог.

В мгновенье ока он получил двойку. Вопрос об обозначениях более не поднимался, шоферюга быстро все выяснил и без них.

Это был последний экзамен в эту сессию. Предыдущие он сдал как обычно — на четверки. А перед последним все выяснял свои отношения с Богом. И пил, конечно. Пить в сессию — это было

чересчур. До сих пор у него хватало терпения и благоразумия этого не делать. На пересдаче отвращение было еще сильнее. Он еле заставил себя прийти на нее. И тут уж необходимо было запихать свое отвращение куда подальше. Давясь им, он еле пересдал на тройбан. Стипендию дают и с одной тройкой.

Дома по поводу пересдачи разговоры с ним были минимальны. Пара? Ясно. Пересдал? На сколько? Ясно. Начиная с первого курса отец никак не комментировал его учебу. И частые пьянки, разумеется, не проходили для него незамеченными. Он прекрасно понимал, что обо всем этом думает его отец. Но отец ничего впрямую ему не говорил. Только в его обращении появилось что-то… Не то слегка презрительное, не то слегка сочувствующее, не то слегка раздраженное. Он, бывший математический вундеркинд, старался поменьше попадаться отцу на глаза…

Мать иногда пыталась наставить его на путь истинный. Но все больше по поводу пьянок. Учился-то он, в общем, без катастроф. Хотя, конечно, она чувствовала, что все с ним складывается как-то не так. И дело тут не в пьянках и не в неблестящей учебе. Но сказать тут было нечего. Для этого нужен конкретный, очевидный повод. А этих поводов практически не было.

Он был в квартире один. Был март, солнце слепило. Квартира была освещена противным мартовским солнцем. Он бродил по комнатам. Жернова в голове перемалывали и перемалывали. С ними ничего нельзя было сделать, он прижимал ладони к голове, гладил ее, просил, чтобы она успокоилась. Он чувствовал, что не может больше выносить это. Порой даже в икрах он чувствовал небольшие судорожные схватки. Он ходил, чтобы отвлечься. Но он ослабел от этого мозгового перемалывания, и все время хотелось лечь куда-нибудь. Но тогда он тут же оставался один на один со своей головой, со своими мозгами, отвлечения больше не было, и напряжение в голове становилось невыносимым, нестерпимым. Он опять вставал. Так он и бродил, иногда лежал, то там, то тут. Сидел на кухне, смотрел в окно, навалившись грудью и локтями на стол. Смотрел на людей, на грязь, на детские коляски, на солнце. Как противно, тошно это мартовское солнце. Оно ненавистно. Он с

трудом глотал чай, делая передых после каждого глотка.

Нет, все, надо что-то сделать. Надо как-то отвлечься, отойти куда-то, отойти. Стоя в туалете он пытался петь. Но каким маленьким, жалким, писклявым показался ему свой голос. Даже туалетное эхо его не спасало, наоборот, только лучше выявляло эту жалкость. Он весь внутренне осел, услышав свой голос. Оборвав пение только начав его, он выполз из туалета, ему хотелось заплакать. Но он только издал нечто вроде безголосого, сиплого хныканья, и даже лицо его осталось таким же неподвижным, каким было. Хныканье тут же оборвалось. Взять надо почитать книгу.

«Вообразите, что перед вами множество людей в оковах, и все они приговорены к смерти, и каждый день кого-нибудь убивают на глазах у остальных, и те понимают, что им уготована такая же участь, и глядят друг на друга, полные скорби и безнадежности, и ждут своей очереди. Такова картина человеческого существования».

«…коренится в изначальной бедственности нашего положения, в хрупкости, смертности и такой ничтожности человека, что стоит подумать об этом — и уже ничто не может нас утешить».

«Нет, не надо… Тебя еще не хватало… Ты еле жил… Потом сдох…»

«И Твой Конец Был Ужасен!»

Во что б это ни стало надо выползти из квартиры, преодолеть слабость. Иначе его голова хрустнет как арбуз. Он тер, мял лицо ладонью, свесив челюсть. Ее держать и то он устал. Он побрел в прихожую одеваться.

«Надо сходить в университет. Еще успею на физкультуру. Давно не был. Посмотреть хотя бы чего там».

Монотонная ходьба до университета принесла некоторое облегчение. Он добрался до кафедры физкультуры, но решил пока туда не заходить, а стал на следующем пролете. Уже доносятся их физкультурные голоса. Спортивные костюмы, свистки. Доносится хлопанье мяча из спортзала. Сейчас оттуда протопает какая-нибудь взмыленная компания в футболках, табун, громко, возбужденно переговариваясь неотдышавшимися голосами. Он вдруг понял,

насколько он ненавидит физкультуру и физкультурников. Их понукающие голоса, грубо, бесцеремонно выдергивающие тебя из твоей тончайшей пленки. Это была чистая, глубокая, задушевная, нежная ненависть. Она освежила ему душу. Он бы со счастливым смехом таскал бы и таскал сюда канистры с бензином. Потом бросил бы спичку и расслабленно стоял бы в стороне, осклабясь, легонько кивая головой, провожая; неторопясь покуривая, сладко затягиваясь. Эта мимолетная греза его взбодрила. На физкультуру он не пойдет, ну ее к лешему.

Напряжение в голове стало меньше. По крайней мере не было ощущения, что оно только нарастает, как еще недавно. Но он все еще боялся, что оно вернется. Он пошел к буфету.

Там он медленно глодал засохший корж, запивая его соком. Народу почти не было, было тихо. Сока не хватило на корж. Он решил взять еще. Но тут налетела толпа гомонящих девиц с физкультуры. Сразу толпа народу у прилавка. Да-а-а чтоб тебя! У него помутилось в голове от ярости - он уже мысленно дожевывал корж со вторым стаканом сока. Девицы наползали друг на друга, заглядывали друг другу через плечо, стремясь рассмотреть прейскурант. Одна, с самого краю толпы, вертит головой, вытягивает шею, высматривает. Хвост на затылке мотается туда-сюда.

С тяжким вздохом он встал в очередь. Стоял он в ней мучительно долго, потому что она была не так уж велика и, казалось, вот-вот подойдет, но не подходила. Он весь изозлился. И нужен-то ему был всего лишь сок.

Когда он шел домой, ему было лучше. Много лучше. Облегчение наконец наступило. Голова теперь просто болела; слегка подташнивало, он был измотан, обессилен. Но это было уже другое. Иногда только вспыхивал мгновенный страх, что опять то вернется. Но голове было наконец хорошо. Пусто. Ничего.

Выпить? Нет. Для этого тоже нужно хоть какое-то напряжение.

Вошел в квартиру. «Мысли». На хрена мне твои мысли?!!

С чтением умных книжек было покончено.

Только Толстой продержался дольше всех. К Толстому его

влекло с детства. Читал он много, но больше всего — не любил, а гораздо больше — небольшие поздние вещи. Из романов — «Воскресенье». Но самым любимым, самым крутым, самым убойным был «Отец Сергий». Он верил в отца Сергия, как в живого.

Читал он и кое-какие статьи о Толстом. Некоторые авторы показались ему не глупее самого Толстого. Понимали они все не хуже. Но дело, опять-таки, было не в этом.

«Мысль, какова бы она ни была, не способна избавить от страха смерти».

«Надо определить веру, а потом Бога, а не через Бога определять веру».

«Вера есть сила жизни. Если человек живет, то он во что-нибудь, да верит. Если б он не верил, что для чего-нибудь надо жить, то он бы не жил».

«Знать Бога и жить — одно и то же. Бог есть жизнь».

«И странно, что та сила жизни, которая возвратилась ко мне, была не новая, а самая старая, — та самая, которая влекла меня на первых порах моей жизни».

Он много думал о Толстом. Что-то очень, очень созвучное было здесь для него. Вперся рогом и бодает, бодает. Двадцать лет проходит, тридцать — и даже ни тени усталости. Бодать — это главное, а усталость — не до нее. *Тон* дневниковых записей абсолютно один и тот же и в 1910, и в 1850 году. Не устал. Проживи он в два раза больше — он все равно бы не устал. У одного критика он прочитал, что Толстой больше всего ценил *героизм*. Что-то очень важное было нащупано здесь.

А сам он, наверно, больше всего ценил не героизм, но *фанатизм*. Одержимость. И у Толстого находил ее, наверно, как ни у кого.

Одержимость, исступленность. «Я верю в крайности» — сказал как-то Джим Моррисон…

«Вера есть сила жизни. Тогда при чем здесь Бог? Посмотри на кучу людей: с силой жизни у них все в порядке. И без всякого Бога, и без всякого христианства. А он зачем-то держался за них. Тогда, правда, *простой народ* вроде как верил. Он на них

и смотрел. Если бы смотрел сейчас, то никакого бы христианства не увидел. Но силу жизни увидел бы. Да сейчас и «народа»-то настоящего нет. Все более или менее одинаковы».

«А как там было в «Отце Сергии»?»

Было так:

«Было раннее утро, с полчаса до восхода солнца. Все было серо и мрачно, и тянул с запада холодный предрассветный ветер. «Да, надо кончить. Нет бога. Как покончить? Броситься? Умею плавать, не утонешь. Повеситься? Да, вот кушак, на суку». Это показалось так возможно и близко, что он ужаснулся. Хотел, как обыкновенно в минуты отчаяния, помолиться. Но молиться некому было. Бога не было».

Он читал, и как будто с ним самим это происходило…

«Так вот что значил мой сон. Пашенька именно то, что я должен был быть и чем я не был. Я жил для людей под предлогом бога, она живет для бога, воображая, что она живет для людей. Да, одно доброе дело, чашка воды, поданная без мыслей о награде, дороже облагодетельствованных мною для людей. Но ведь была доля искреннего желания служить богу?» — спрашивал он себя, и ответ был: «Да, но все это было загажено, заросло славой людской. Да, нет бога для того, кто жил, как я, для славы людской. Буду искать его».

Без мыслей о награде, значит… Так… БЕЗ МЫСЛЕЙ О НАГРАДЕ.

«В Сибири он поселился на заимке у богатого мужика и теперь живет там. Он работает у хозяина в огороде, и учит детей, и ходит за больными…» Вот тебе и весь Бог…

Для него эта фраза была больше, чем даже окончание «Отца Сергия». Это была фраза-знак. Фраза-символ.

«— А ты какой, дедушка, веры? — спросил немолодой уже человек, с возом стоявший у края парома.

— Никакой веры у меня нет. Потому никому я, никому не верю, окроме себе, — так же быстро и решительно ответил старик.

— Да как же себе верить? — сказал Нехлюдов, вступая в разговор. — Можно ошибиться.

— Ни в жизнь, — тряхнув головой, решительно ответил старик.

— Так отчего же разные веры есть? — спросил Нехлюдов.

— Оттого и разные веры, что людям верят, а себе не верят. И я людям верил и блуждал, как в тайге; так заплутался, что не чаял выбраться. И староверы, и нововеры, и субботники, и хлысты, и поповцы, и беспоповцы, и австрияки, и молокане, и скопцы. Всякая вера себя одна восхваляет. Вот все и расползлись, как кутята слепые. Вер много, а дух один. И в тебе, и во мне, и в нем. Значит, верь всяк своему духу, и вот будут все соединены. Будь всяк сам себе, и все будет заедино.

Старик говорил громко и все оглядывался, очевидно желая, чтобы как можно больше людей слышали его.

— Что же, вы давно так исповедуете? — спросил его Нехлюдов.

— Я-то? Давно уж. Уж они меня двадцать третий год гонят.

— Как гонят?

— Как Христа гнали, так и меня гонят. Хватают да по судам, по попам — по книжникам, по фарисеям и водят; в сумасшедший дом сажали. Да ничего мне сделать нельзя, потому я слободен. «Как, говорят, тебя зовут?» Думают, я звание какое приму на себя. Да я не принимаю никакого. Я от всего отрекся: нет у меня ни имени, ни места, ни отечества, — ничего нет. Я сам себе. Зовут как? Человеком. «А годов сколько?» — Я, говорю, не считаю, да и счесть нельзя, потому что я всегда был, всегда и буду. — «Какого, говорят, ты отца, матери?» — Нет, говорю, у меня ни отца, ни матери, окроме бога и земли. Бог — отец, земля — мать. — «А царя, говорят, признаешь?» — Отчего не признавать? он себе царь, а я себе царь. — «Ну, говорят, с тобой разговаривать.» — Я говорю: я и не прошу тебя со мной разговаривать. Так и мучают.

— А куда же вы идете теперь? — спросил Нехлюдов.

— А куда бог приведет. Работаю, а нет работы — прошу, — закончил старик, заметив, что паром подходит к тому берегу, и победоносно оглянулся на всех слушавших его.

Паром причалил к другому берегу. Нехлюдов достал кошелек и предложил старику денег. Старик отказался.

— Я этого не беру. Хлеб беру, — сказал он.

— Ну, прощай.

— Нечего прощать. Ты меня не обидел. А и обидеть меня нельзя, — сказал старик и стал на плечо надевать снятую сумку».

Ну, лих старик. А может, Толстой и хотел быть таким стариком? Людям верят, а себе не верят… Верь всяк своему духу… Да ничего мне сделать нельзя, потому я слободен… Дальше старик почти не появляется. Авторские комментарии почти отсутствуют…

Но и Толстой прошел. Восемьдесят два его года дали ему все, что могли дать. Что ж, и к авторам других умных книжек он чувствовал уважение.

«Химия мышления, вот что нужно. Биохимия душевной деятельности. Отсюда и разные философии. Как наросты. Почему у одного угри, у другого прыщи, у третьего фурункулы? Классификация человеческих типов. Сначала, от рождения кто-то к чему-то предрасположен. Пусть на самом примитивном уровне, пока без мышления. Но какие-то поползновения есть уже с самого начала. Какие-то невыразимые зачатки. Зачатки зачатков. Каждый рождается с какой-то своей конституцией. Потом раннее воспитание, человек еще не помнит себя. Потом уже не столь раннее. Первый жизненный опыт. Прочитать бы книгу, где написано, какие бывают люди. Такая книга — и есть верх земной мудрости».

«Но этих типов, похоже, безумно много. И жизненных обстоятельств безумно много. И число сочетаний совершенно немыслимо. Даже в этой примитивной модели. А есть еще и круг идей. Каждой эпохе присущ свой, может и не один. Но ты можешь выбирать только из того, что уже есть вокруг тебя. Даже не выбирать. Твоя голова без всякого твоего ведома уже повернута туда. Танцевать ты можешь только оттуда. Ничего другого ты просто не видишь. Потом увидят, и не потому, что умнее тебя, а потому что голова у них повернута по-другому. Зато что-то они перестанут видеть».

«Как это все неподъемно, Бог ты мой! Эта книга никогда не будет написана…»

«Родись Толстой сейчас, каким бы он был? Да уж не тем, к какому мы привыкли. Может быть, он был бы чумовым, исступленным

битником, пишущим дикие стихи? Наркоманом, жаждущим смерти, вспарывающим себе вены? Ни тебе Христа, ни народа, ни морализаторства, ни «естественности», ни «праздных сословий». Но, вглядевшись в него внимательно, ты вдруг с изумлением обнаружишь в нем какие-то б а з о в ы е толстовские черты. Некую т о л с т о в с к о с т ь».

«Во всяком случае в психологии, именно в психологии нас ожидают сенсации. Это будет не скоро, но будет».

Он почему-то оказался на лекции, и даже не наверху, поближе к выходу, а ближе к центру. У него была с собой какая-то тетрадка, он положил ее перед собой и ждал, когда появится лектор. Сразу над ним, на следующем ряду оказалась компания – все они были а ля Васильев. Сидя и ждя он краем уха слышал их небрежное и энергичное переговаривание. «Плюнуть этому на лысину, что ли?» – внезапно различил он. «Кому?» – «Да вот этому». Он понял, что речь идет о нем. Рядом никого и не было. Сказал это тот, кто прямо над ним. Он резко обернулся, привстав, и сунулся к тому, морда к морде. «Ты, пидор…» Глухо, сипло; голос пресекся. Задохнувшись, он не знал, что дальше сказать, только чувствовал, что побледнел. У того морда вмиг сделалась красной, и глаза вроде заслезились. Так они молчали секунды три. Его товарищи тоже. Он уселся обратно. Руки дрожали, но не слишком сильно. Тут же вошел лектор, все встали и опять сели. Он начал тупо записывать лекцию, которую не понимал. Было противно. Красная, слезящаяся рожа стояла перед глазами. Но стерпеть было бы еще гнуснее. Щенок… Привык там выеживаться у себя… Никто ничего, похоже, не заметил… Говорил тихо, и сидели на отшибе. А он здоровый. Вдруг бы сказал: «А ну, выйдем». Тогда бы он порвал ему пасть – от уха до уха. И нос бы отгрыз.

«Папа, мама, все, кого я люблю, неужели мы встретились в этом космосе, в пустоте, среди летящих камней, чтобы разлететься навсегда! Мы, такие теплые, живые; и только на миг нам предоставлено свидание, и больше мы не увидим друг друга никогда, никогда!» Он вдруг прозрел; он ясно видел этот бесконечный космос, летящие булдыганы, и их самих, лишь на миг

там вспыхнувших. Он ехал в поздней электричке, развалившись, упершись ногами в эту штуку под противоположным сиденьем, запрокинув голову, уставив взгляд в потолок. Краем глаза он видел свое отражение в противоположном окне, за которым уже ничего не было видно. Кажется, в первый раз он осознал, что смерть, это не только потеря «я», но еще и разлука. Вздохнув, он выпрямился на сиденье и стал смотреть в пол. Пьян он был не сильно.

Он ехал в электричке, и у него страшно болел живот. Иногда схватки были такой силы, что он думал, — вот сейчас обосрется. Ох, обосрусь. Ох, обосруся. «Что же я съел такое сегодня?» — все время варилось в голове, сквозь расслабляющую боль. Остановок оставалось немного, но он не чаял, что когда-нибудь будет его остановка.

Он еле добрался до привокзального сортира. Потом брел домой, все еще слабый. Наверняка будет еще атака, но он уже будет дома.

Дома, лежа на кровати, очухиваясь, он думал.

«Херня какая-то… Таких случаев у каждого… И у меня тоже…»

«Из-за такой ерунды… Скоро палец ушибу и буду страдать три дня… А раньше как? А забывал сразу. Будто этого и не было. А теперь помню. Раньше страдал, когда страдал, радовался, когда радовался».

«А теперь я страдаю и после того как отстрадаю».

«А радоваться? Когда я в последний раз радовался?»

«А что вообще было? Был миокардит, была больница. До этого по кладбищам шлялся. Все время боялся смерти. А потом это куда-то подевалось. Я уже и забыл. Но теперь опять вернулось. И сильнее. Наступает. Жизнь как будто описала какой-то круг. Я же теперь постоянно думаю о смерти. Она все время рядом. И философствования мои. Они все оттуда».

«Страдания. Я их все хуже стал переносить. Как будто они мне кажутся несправедливыми. Неправильными. Не за что.»

«Веры во мне нет. Силы жизни нет. А Бог… Ну, допустим, я верю в Бога. И что дальше? Какая разница, есть он или нет? Меня

вовсе не Бог интересует. А силы жизни нет. И какая-то удавка как будто затягивается. Все туже и туже».

Посмотрел на свою комнату. Предметы. Они домашние, ручные. Но каждый, при небольшой фантазии, можно превратить в орудие пытки. И бабушкин шлепанец тоже.

«Смерть, страдания опять вокруг меня. Они были всегда, но на какое-то время я почему-то о них забыл. Их как бы и не было. Но теперь опять вспомнил. И теперь помню и помню и помню».

«От них никуда не деться. Но можно страдать, когда страдаешь, радоваться, когда радуешься. Это и значит — легко нести бремя жизни. А я его еле тащу. А почему? Ничего ведь ужасного не происходит? Так почему?»

Он не понимал.

«Слушай! Разреши мне жить! А? Разреши! Разрешишь? Нет?»

Нет.

На военной кафедре, на перерыве он сидел в аудитории почти один. Он только что покурил и теперь ждал. На переднем столе лежала открытая книга, которую читал Крайслер — на предыдущем перерыве он видел ее у него. Крайслера пока не было. Делать было нечего, и он подошел к переднему столу и стал рассматривать книгу — стоя, сидя было бы уж совсем неудобно. Книга, конечно, была по математике — это еще и раньше было видно по обложке, к тому же, он почему-то и не ожидал от Крайслера, что тот будет читать что-то еще. Ну и формулищи! Так, страница 227. Посмотрим, сколько всего страниц — 459. Вверху страницы номер главы — двадцатая. Посмотрел на корешок книги — второй том. Бывают же люди… Первый раз он почувствовал невольное уважение к Крайслеру — когда воочию увидел, чем он занят. Сколько надо п р о й т и , чтобы читать такие книги. До этого он чувствовал, скорее, смутную зависть, в которой, разумеется, он не хотел себе признаваться. Но перед лицом двести двадцать седьмой страницы с могучими формулами-дредноутами зависть исчезла, появилось уважение. И что же тут написано, в этой книге? Он вгляделся в страницу повнимательнее: незнакомых слов было предостаточно, но в общем текст показался ему не вовсе непонятным. Как-никак он

сдавал на четверки сессии, и какое-то общее представление о математике у него было. Впрочем, он быстро убедился, что читать второй том с середины и рассчитывать получить даже поверхностное представление — легкомысленно. По крайней мере, его квалификации явно недостаточно. Ну хорошо, хотя бы в самых-самых общих чертах? Что-то такое:

«Для начала увидим, что можно получить совсем простыми рассуждениями».

Далее страницы две формул, формул, формул. Одна формула влекла другую. Скупые словесные комментарии: «очевидно, что…», «заметив, что .... получаем:», «отсюда:», «тем самым мы находим», «наконец», «что и требовалось доказать». Он подробнее остановился на одном «очевидно, что», попытался понять, почему оно очевидно. Формулы вроде состоят из понятных элементов. Силился, силился, бросил. А это еще «очевидно»! И, кстати, относится к «совсем простым рассуждениям».

Ну и так далее:

«Теперь мы убедились, что для решения поставленной в начале главы задачи нужны новые идеи. Как вскоре увидит читатель, они далеки от тривиальности».

Полстраницы неких пояснений. Снова в бой.

«Для начала докажем ряд предварительных утверждений».

Первое утверждение. Полторы страницы.

Второе утверждение. Столько же.

Третье утверждение. Страница.

«Теперь мы можем приступить к доказательству следующей основной леммы. Существует много различных ее доказательств, но приведенное ниже остается самым изящным. Оно принадлежит (незнакомая фамилия)».

«Доказательство проведем в три этапа».

Первый этап. Две страницы.

Второй этап. Три страницы.

Третий этап. Три страницы.

Формулы, формулы, формулы. Изредка мелькнет «следовательно», «очевидно», «вспомним», «заметим». Самое

простое изящное доказательство.

Еще несколько «подготовительных» лемм, примерно по полторы страницы каждая. Наконец, «Основная теорема».

«Здесь есть три возможных случая».

«Наиболее прост первый случай.» Полторы страницы.

«Рассмотрим второй случай. Здесь предыдущие рассуждения неприменимы, так как… и т.д. и т.д. и т.д. Нам придется воспользоваться тем, что… (см. следствие 3 теоремы 5 из главы XVI)» Две с половиной страницы.

«Третий случай наиболее сложен. Для доказательства теоремы и в этом случае нам понадобится основная лемма этой главы, где мы уже преодолели наиболее существенные трудности».

Две страницы.

«Таким образом, обещание, данное в начале этой главы, выполнено. Хотелось бы однако (все им мало) узнать что-нибудь о поведении (какой-то фигни, до этого она мелькала). Очевидно, что предыдущие рассуждения никак не проливают свет на этот вопрос, на который, к моменту написания нашей книги (1976) не было дано сколько-нибудь полного ответа. Однако мы приведем следующий основной результат. Здесь нам понадобятся совершенно иные соображения, которые мы до сих пор приводили лишь вкратце (см. Примечания к главе X)».

Ну ладно, давай, не задерживай.

«Доказательство разобьем на ряд лемм».

Лемма 6. Пальцам уже надоело переворачивать страницы.

Лемма 7. Переворачиванье.

Лемма 8. «Эта лемма — «гвоздь» нашего доказательства. Она представляет и самостоятельный интерес».

Лемма 9.

Следствие 1.

Следствие 2.

Следствие 3

Следствие 4. Совсем немного понаписано, и — «отсюда и следует утверждение теоремы».

Кто хочет знать историю вопроса подробнее — отсылаем к

исторической справке в конце главы.

Историческая справка… В 1936 году такой-то доказал. В 1944 такой-то (уже другой) высказал гипотезу… Сильный результат этого рода был получен (еще одним), когда он доказал, что (какая-то хреновина) не может превышать 15/26. Стали выяснять, насколько эту хреновину можно снизить. Дальнейшее серьезное продвижение было достигнуто лишь в 1963, когда Шульман (что-то знакомое?) доказал, что она не может быть снижена до 1/3. В 1969 году он же показал, что любая теорема типа (чего-то там) заведомо неверна, из чего, в частности, следовало отрицательное решение гипотезы (такого-то, 1944 года). Шульман заметил связь между поведением (этой фигни, о которой речь) и «весьма тонкими» свойствами какой-то другой фигни. Результаты Шульмана получены на совсем другом пути… Их рассмотрение выходит за рамки нашей книги… Отсылаем к монографии Шульмана (1972)…

Глава двадцать первая.

«Теперь попробуем взглянуть на проблему, так сказать, с другого конца. Очевидно, что нам потребуется ввести в рассмотрение…»

Х-х-у-х, пожалуй довольно.

– Ну как, интересно?

Это спросил Крайслер. Он зачитался, задумался и даже не заметил, как тот подошел.

– М-да, впечатляет…

Странно как-то Крайслер спросил «ну как, интересно?». Как будто желал его одобрения. Как будто ему было неловко, что он занимается такой ерундой. Что-то такое ему почудилось… Странно…

– У Шульмана очень интересный семинар, кстати. Мы с мужиками к нему ездим. Задачи интересные.

И опять как будто оправдывался. Ну, дела. Такой небожитель, и так запросто. «Мы с мужиками…»

Шульман. Точно. То-то ему показалось знакомым. На факультете до него доносилось: Шульман, Шульман. У Шульмана, к Шульману. С этаким важным видом. Или со снисходительным. С некой лакейской снисходительностью. То, что такой великий человек и

совсем рядом с ним, его таки взбудоражило.

А Крайслер, кстати, стал с ним здороваться. С Васильевым или с кем-нибудь вроде него можно просидеть два часа в одной комнате, о чем-то разговаривать, а назавтра никакого «привет» от него не дождешься. Крайслер мрачно говорил «здорово», слегка вскидывая голову вверх, слегка прикрывая глаза.

Разговор этот так просто не кончился. Он и раньше чувствовал какие-то смутные призывы, позывы. После каждой сессии, уже сдав ее, перечитывал уже сданный материал — и не только из практических соображений — с лучше усвоенным предыдущим материалом, следующую сессию сдавать будет легче. Если бы дело было только в этом, он бы не притронулся к уже сданному, спихнутому. Экзамены пробуждали в нем какой-то математический аппетит. Насыщался он довольно быстро, но за это время успевал узнать то, что учил, гораздо покрепче, чем до экзамена. Иногда он думал, что, доведись сейчас сдавать, он имел бы шанс получить и пятерку. В сущности, математика давалась ему не слишком тяжело. Как-то он п о н и м а л ее. Непонятно — так подумай хорошенько и поймешь. Ну, нашла коса на камень — спросил. Дальше опять можно долго самому. Отец, правда, недоумевал: что теперь пошли за студенты, если такому лоботрясу ставят четверки. Раньше бы такие еле-еле влачили существование, постоянно что-то пересдавая. Что ж, времена меняются. А какую-то математическую с у т ь он все равно понимал. И какая-то охота до математики в нем жила.

Но нет, не охота до математики. В математике он видел чистоту, высоту, совершенство; там бы он наконец освободился от мути, грязи, дряни своей жизни, от ее тягучей бессмыслицы, которую он был более не в состоянии выносить. Но при чем здесь была математика, сама, как таковая? Но, может быть, он видел в ней еще что-то? Он не хотел думать об этом. И книга Крайслера, разговор с ним, сработали как детонатор. Так или иначе, он ударился в математику. Отдался ей со страстью.

Особенно первые дни после разговора с Крайслером. Восторг и какая-то легкость, невесомость. Пульс жизни, наконец, опять

забился по-настоящему, так, как и должен был биться. Он любил захаживать на четвертый этаж, где располагались кафедры, и читать там темы курсовых работ, вывешенные на листочках. Смутно, только в общих чертах понятные названия. Он читал и опьянялся ими. Жаль, что он этого пока не знает, ему не терпелось в бой. Он там себя покажет, мать-перемать! Лучше гор могут быть только горы… Он взберется на одну вершину, потом еще на одну, еще выше, потом еще, и конца этому не будет, эти вершины уходят в бесконечность. Со стороны это был просто студентик, от нечего делать забредший сюда, от нечего делать читающий темы курсовых, но мысленно он уже стоял на вершине, и от высоты у него перехватывало дыханье. Экстаз на высоте. Неземная красота формул, вписанных ручкой в машинописный текст, сами термины — прекрасные, божественные. На других кафедрах — другие термины, другие формулы, но божественность — та же самая. Пожалуй, он бывал здесь слишком часто. Он уже побаивался, что преподаватели, время от времени появляющиеся в коридорах, его уже запомнили. Какой-то странный тип постоянно здесь толчется и читает названия курсовых. Поэтому он старался все-таки не слишком часто здесь появляться. Насколько это было для него возможно… Он шел домой, весь пребывая в экстатических грезах. Он чувствовал, что — вот он, вот этот момент, когда начинается для него н а с т о я щ а я жизнь, вот он конец детства и начало его великого пути — конечно, великого! — великого, прямого, окончательного. Кончилось то, старое, и теперь — в путь. Собственно, рано или поздно это и должно было случиться, ведь он всегда, в сущности, это знал. И наконец, час настал.

Все в том же полубреду он и занимался математикой. Почти два года отставания — не полного, но все равно, конечно, отставания. Но какая это ерунда! Если он захочет, он что, не нагонит? Он был уверен, что если захочет, он добьется в с е г о . Захотеть — вот главное. Захотеть, и тогда сверкнет в воздухе флажок, и он попрет, попрет. Своим лбом он прошибет стену любой толщины и любого материала; и следующую за ней, и следующую, сколько бы их там ни оказалось, — и выйдет с другой стороны.

Он взялся решать задачи из задачника повышенной трудности. Он понимал, что главное крепко-накрепко усвоить основы, так, чтобы они стали частью тебя; корень всего был здесь. Та с у т ь , которую он хоть и улавливал, все-таки далеко еще не стала частью его. А дальше можно будет идти, а не ползти. Тем более, что кое-что он все-таки знает. Но задачи давались нелегко; вовсе не торопились к нему в руки; они были совершенно не похожи на те, которые он сам решал или списывал на контрольных. Тут надо было действительно п о н и м а т ь , а не использовать какие-то навыки, почти механические. Это была уже математика, а не упражнения. И для каждой задачи нужен был штурм. Его пылающие мозги штурмовали и штурмовали, им, наконец, было, что штурмовать. Жевал что-нибудь — думал, ложился спать — думал, просыпался, — и первая мысль была о задаче. Задачи шли в порядке трудности; они подводили к главной задаче — она, таким образом, разбивалась на ряд подзадач, что, конечно, сильно облегчало положение штурмующего — он подводился к ней, вместо того, чтобы сразу на нее налететь. Но уже первую задачу — вроде бы самую легкую — он протаранивал целый день. И каким-то чудом ее все же решил. В процессе решения он все время чувствовал, насколько плохо он знает математику — те немногие понятия, теоремы, которые здесь требовались, он, оказывается, по-настоящему не понимал, хотя мог бы все и сформулировать, и доказать. Для него решение этой задачи свелось, в сущности, к уяснению этих понятий. Он напрягал мозги что есть мочи — в какую-то одну сплошную судорогу. Талдычил и талдычил, бормотал и бормотал, как тихо помешанный, эти самые понятия, теоремы; вникал в сами слова формулировок, — что за каждым словом стоит; представлял их как мог, рисовал. Беломорина одна за другой, мусоропровод — письменный стол, мусоропровод — стол, только талдыченье не прерывалось. И он-таки доскребся до истинного понимания. Задача пала к его ногам; как будто кусок намокшей штукатурки отвалился от стены. Он даже не сразу понял, что задача решена, и что она, оказывается, так проста. Несколько раз, затаив дыханье, сглатывая слюну, он проследил весь ход своего решения — дергал, проверяя на

прочность. Ему было очень страшно, — а вдруг неправильно? Но потом убедился, что не, все правильно. Все честно. Он положил ручку и откинулся на спинку стула. Вот так. Минуту посидел. Ну что ж, теперь следующая… Ладно, ее назавтра… Судорога все не отпускала мозги. Он пошел покурить уже спокойно, без талдыченья. Курил не торопясь, отдыхал. Перед сном взглянул на следующую задачу. Завтра будет новый штурм. Вдохновленный, он пошел спать. Напряжение в мозгах не прошло, а все еще проходило.

Сразу же с утра он накинулся на следующую задачу. В трусах и в майке прошлепал босыми ногами к столу, впился в условие, а уж потом приступил к утреннему туалету. Мял он ее и корежил довольно долго, но все же много меньше, чем ожидал. Задача решилась. «Ну я даю!» — в восторге думал он. А ну-ка, давай-ка теперь следующую! Но сначала решил все-таки передохнуть. Никуда она не денется. Разогревал жратву, смотрел в окно. Экстаз… Он уже вошел в некоторый круг вещей, в котором обитали эти задачи, и поэтому вторая пошла гораздо легче, чем первая, хотя была и потруднее.

Ладно, отдыхать хватит. Он вцепился в третью задачу. На нее ушло примерно столько же времени, как и на вторую. Он расслабленно рассмеялся. От так от, братцы. Теперь следующую. Но вдруг понял, что все. Мозги не работали. Не мог бы двинуть и извилиной. Что ж, хорошо, все на сегодня.

«Ну, заруба!!» — думал он, одеваясь. Дома совершенно не сиделось. Вышел на улицу. Уже давно был вечер. Несмотря на зимищу, ветер, темень он некоторое время побродил под фонарями. В голове был хаос, не поймешь чего, не разберешь. Мысли, образы прыгали, скакали… С а м дожал, додавил… Никто не помогал… Начало большого пути… Первый шаг уже сделан… Сделан, реально сделан! И впереди маячило, громоздилось что-то неизмеримо более… Грандиозно, охрененно!!! После двухдневного напряжения он был сейчас на грани истерики. Слишком много было счастья, предвкушений, упований, слишком много, с ними было не совладать. Он охреневал от собственной крутизны, охреневал, уже не мог больше.

Чтобы развеяться, он решил зайти к одному знакомому. Его парадняк как раз оказался рядом. Знакомый этот был несколько нудноват — в компании с ним было нормально, но один на один — нудновато. Он и пошел к нему, потому что близко. И, кстати, давно у него не был; так что решил одарить его визитом.

Открыла маман, сказала, что Дима спит. А-а… ну извините. Но она сразу же пошла его будить. «Дима, к тебе пришли!» — откуда-то из глубины. Через некоторое время появился Дима, несколько не раздраженный тем, что его разбудили. Пошел в ванную плескать водой на физиономию.

Очень мило поговорили. Дима рассказывал о зачетах, дискотеках, пьянках. Получалось у Димы не очень интересно. В другое время он бы уже слегка затосковал, но сейчас — ни чуточки. Переспрашивал, интересовался. Смеялся. И Дима смеялся. Потом пришла небольшая компашка. С ними он пересекался совсем редко, случайно — эта компашка была уже чисто Димина, но все равно, он принял самое активное участие в беззаботном трепе, был очень прост, весел, естественен. До того весел и естественен, что все, наверно, были слегка удивлены.

Как прекрасно беззаботно проводить время, если сделал дело! Как прекрасно с м е л о гулять. Смысл жизни — вот он, смысл жизни. Да фиг с ним, оправдание, ОПРАВДАНИЕ — вот самое главное. ОПРАВДАНИЕ.

Он даже не прочь был бы дерябнуть, да было уже поздно.

— Слушай, я фигею с себя! — жарко объяснял он Второму Другу, лезя своим лицом в его лицо, чтобы тому стало совсем понятно. Они шли по пустынной, заметенной снегом дороге, иногда проскальзывая на подснежном льду. Иногда оглядывались на приближающиеся фары. Вновь приморозило. Фонари были редки. Обсыпанные снегом кусты вдоль дороги были похожи на пушистые дамские шапки. Забрели они далеко, и до ближайшей остановки нужно было еще долго топать.

— Да нет, ты понимаешь, я наконец понял, в чем жизнь!!! У меня раньше никогда такого не было!!! У тебя было когда-нибудь такое?!

Второму Другу было, в общем, все понятно, только некоторая «неадекватность» казалась ему чудной.

— Ну ясно, ты всегда в математике…

— Да нет, тут не в этом дело! Я понял, что м о г у! Теперь я все могу!

— Ты че, врезать успел?

— Да не, ну ей-богу! Просто действительно такого у меня не было никогда.

«Врезать успел». Вишь ты как. И пили, вроде, вместе, а репутацию он уже успел себе составить.

Шли некоторое время молча. В его мозгах все варились пламенные, неистовые мысли-впечатления-ощущения. Он все хотел дотолковать, дообъяснить, чтобы кто-нибудь разделил его восторг, его избавление. Теперь он знает, что хочет, так что теперь держитесь. Главное ведь понять, что хочешь, правда?! Отошли к обочине, проводили взглядом легковушку.

— Морозец клевый сегодня, — сказал Второй Друг.

Он посмотрел на деревья, на небо, вдохнул чистого воздуха. Да, действительно.

По утрам на него накатывал страшный бодряк. Какой-то прямо озноб. И он принимался терзать очередную задачу. Недели две это уже продолжалось. Угар, запой. А имена! Какие имена! Имена математиков, старых и не очень, в париках и в сюртуках. Они были священны для него, они были носителями священного огня. Решил он не так уж много задач, но чувствовал, насколько лучше теперь он понимает математику. Мышцы как будто на глазах наливались силой. Действительно, как в спорте — первый успех приходит быстро.

Про алкоголь он забыл. Забыл, что он существует.

Занимался математикой он и на университетских семинарах, где иногда все-таки нужно было появляться. Сидел в углу и старался, чтобы никто не видел, чем он занимается. Почти хвостист — и занят математикой, причем вроде и не для дела (для зачета) нужной. Сущая нелепица. Хвостисты обычно другие — например любители водки или игры в преферанс. Он уже давно не обращал почти никакого внимания на сокурсников. Следил, главное,

чтобы на него поменьше обращали.

А когда он не занимался математикой, он чувствовал себя «молодым ученым». Идет за хлебом и думает: «Я — молодой ученый». Что ему больше нравилось: сама математика или быть «молодым ученым»?

…Уже третий день он бился над одной задачей. Пыжился, надсаживался. Все в пустую. Такое было в первый раз. До сих пор они подавались. Две кривые выходят из одной точки. Одна сначала выше, другая ниже. Но рано или поздно та, вторая, должна где-то пересечься с первой и дальше идти уже выше ее. Вот, собственно, и все. Условия были очень просты, понимал он их очень хорошо. И видел эти чертовы кривые очень явственно. Он представлял, как они идут, развиваются. И где-то должен наступить момент, когда одна из них догонит, пересечется с другой, а потом обгонит уже навсегда. Вот она идет. И с ней другая. Но запас скорости у нее выше, и она ее перегонит, перегонит. Он мысленно шел с той кривой, поначалу нижней, и как будто вместе с ней, так же неумолимо, как она, хотел подойти к тому, главному моменту пересечения. Но момент этот не наступал. Они быстро расставались — кривая с естественной, но скрытой от него логикой шла себе и шла, а он отставал от нее и только болтался рядом, глазел, ничего не понимая. Почему, почему должен наступить тот момент?! Он вновь и вновь возвращался к началу. Вот одна кривая, вот вторая. Вот они выходят из одной точки, идут. Так, это все понятно. Да, понятно. Вот идут, и… И… Все «элементарные соображения» были тысячу раз исчерпаны. И ничего, кроме них. Мозги пережевывали вновь и вновь эту тривиальщину, но дальше дело не шло. Он был на крепкой привязи. Выходят две кривые. Одна выше, другая ниже. Может, пересекутся, а может, и нет, черт их знает. Вполне могут и так остаться. Но нет, не могут. Ну почему не могут-то? Хождение по университету, хождение по улицам, еда чего-то, какие-то разговоры. Каменный университетский пол, клозетный линолеум, кухонный линолеум, комнатный паркет. Вперившись вниз он пыжил и пыжил мозги. Покоя не было и ночью. Он не мог заснуть, две кривые, выходящие из одной точки, стояли

перед глазами, будоражили мозги, не давали им успокоиться. Еще и кашель напал на него. Он был как раз простужен, но кашель разыгрался, кажется, уже «на нервной почве». Так, две кривые. Кашель не остановить. Вот она, сначала ниже, но потом нагоняет, нагоняет… Он кашлял и кашлял. Встал, в трусах и в майке пошел на кухню, наливал кипяченой воды из чайника, пил. Сидел, отдуваясь, после залпом выпитой воды. Глубокая ночь. Две кривые. Кашель, слава богу, кажется, прекратился… Ноги мерзнут на холодном линолеуме. Глаза никак не привыкнут к свету. Так, значит, как оно? Одна кривая – вот. Теперь другая – вот. Выходят из одной точки; сначала… Чуть-чуть запершило в горле, и это было как камешек, вызвавший лавину. Он опять кашлял; кашлял навзрыд, давясь слюнями, и никак было не выкашляться. Только что-то еще больше распалялось в глубине горла. Послышалась возня в родительской комнате; мать полупоявилась из-за приоткрытой двери, разбуженная, щурящаяся. Ты что, мне ж вставать завтра! Кашляя он разводил руками, таращил глаза – ничего, мол, не могу поделать. Продолжая кашлять он пошел назад в свою комнату, укладываться. Он лежал в темноте, кашель сотрясал мозги, но он все думал, думал. Мечтал уже заснуть, но не засыпалось. Может, во сне решу… Читал про такое… Как-то он все-таки заснул. Снились сны, все яркие, цветные, непонятно про что, – но две кривые были центром всего этого, все наворачивалось вокруг них. Пошел в университет, продолжая думать. Кажется, во сне он что-то такое придумал. Надо вспомнить, что это было… Но так и не вспомнил. Наверно, ничего и не было. В нем не было решения. Никакими способами не найти в нем решения, не найти того, чего нет. Сон, гипноз, впрыскивание химического вещества… Все было бы бесполезно, они ничего бы в нем не «отворили». Чего не было, того не было. Один раз ему показалось, что он нашел решение. Он громоздил что-то, громоздил, в глубине души сам себе не веря, и догромоздился, кажется, до того, чего надо. Вот поэтому-то, поэтому-то, а потом поэтому-то та кривая пересечет эту. Что, все? Неужели правильно? Проверил рассуждения с самого начала. Все вроде правильно. Уже радость начала постепенно разгораться в

нем, но он еще решил проверить. Разумеется, чепуха. Он даже не сильно был обижен, как-то уж ясно было, что все его нагромождения — чушь. Так, попробуем заново. Думал и думал и думал. Это было как помешательство. Затяжной, изматывающий приступ. Он понял, что пора сдаваться. И обратился к отцу. Обратился не без внутреннего напряжения. Отец, впрочем, сразу стал объяснять, без всяких предисловий. Держался он спокойно, мягко, даже дружелюбно. Никаких признаков удивления. Попросили его объяснить — вот он и объясняет. Сколько раз приходилось ему этим заниматься. Ну-с, так… Объяснение заняло минут двадцать. Отец решал и объяснял одновременно. Никаких откровений явлено не было. Никаких охреневаний. Был явлен чистый, трезвый, мудрый взгляд на мир. Для начала — вот. Так? Так. Значит, этот случай явно отпадает. Забудем теперь про него, чтобы он нам голову не морочил. Теперь посмотрим на эту дуру… Так… Ага! Смотри… так, секунду… смотри, ведь это есть не что иное… Вот! В этом-то и соль. Понял? Теперь мы по крайней мере знаем, что ей некуда деваться. Вот, примерно такой она только и может быть. Какой-нибудь такой — быстро чертится еще несколько кривых — она быть не может. Вот! Мы с тобой только что это выяснили. «Мы с тобой», — подумал он. Что ж, молодцы. Уже победа. Идем дальше. Что теперь с этой дурой делать. Она-то с той связана. Посмотрим на нее получше. Отец смотрит в окно, в даль и вертит ручку в руках. Дурной привычки грызть ее у отца никогда не было. Но сыну эту привычку не передал. А-а-а… Так, кажется, понял. Помнишь теорему такую-то? Вспомнил? Так вот, по теореме такой-то, она не может… Не может, потому что, вот, посмотри еще раз на условия. Собственно, мы уже близко. Ты понял, да? Да, да, конечно. Здорово. А, ну все, это и есть решение. Вот, смотри, еще раз взглянем на первую кривую. Вот. Значит, действительно, рано или поздно должна пересечь. И, — смотри, — не позже, чем — вот эта штука, мы ее с тобой написали. Грубая оценка, но все-таки. Так что молодцы, доказали даже больше, чем требовалось. Да, здорово. Здорово. Да-а… Мы молодцы, это точно. С листком, на котором отцовским почерком было написано решение, он задумчиво побрел в

свою комнату. «Ничего, брат, — напутствовал его отец, — поработай с мое». Отец сладко потянулся. Ему самому было приятно.

Как же у отца так получилось? И ни судорог никаких, ничего. Выглядит, как само собой. А уж он почти уверился, за несколько дней тяжелого бреда, что эту задачу *невозможно* решить. Разве что Гауссу какому-нибудь. Кто давно уже умер. «Смотри, это не что иное, как»… А он не увидел. Не узнал. То бузина, а это дядька. Да, и еще надо было вспомнить ту теорему. Почему-то отец очень вовремя ее вспомнил. А он не вспомнил, хотя тоже вполне ее знал. Вспомнить… А как я могу вспомнить, если само не вспомнится? И никакая сила воли тут не поможет. Ладно. Ничего, «поработай с мое».

В другой раз он нарвался на задачу, которую и отец решить не смог — подумал, подумал, да бросил. Сказал, что проконсультируется. Через неделю принес два решения. Одно было — чистый фокус, трюк. Это его удивило, — ведь видно было, что задача *важная*, то есть надо было доказать *важный*, интересный факт. Он думал, что и решение будет ей соответствовать — вскрывать какую-то *суть вещей*. Но тут были чистые манипуляции, ничего для него не вскрывающие, однако приводящие к цели. Странно. Но, оказывается, бывает и так. Зато другое решение удивило его другим — своей простотой. И оно да, вскрывало суть вещей. Прямо на ладони ее подносило. Яснее и проще некуда. И он понял, что до такого ему сроду не додуматься. Как-то сразу, ясно и быстро понял. Собственно, и раньше он решал не все задачи. Но до сих пор все было можно объяснить отсутствием опыта. Но это, второе решение ясно сказало ему: никакими трудами, никакими судорогами он до этого *никогда не додумается*. Если и было что-то ясное для него сейчас — так это это. «Ты побольше читай чужих решений, — сказал отец, — сам до всего никогда не додумаешься». Он покивал на это. И «ушел в глубокой задумчивости». Случилось то, что должно было рано или поздно случиться. Впрочем, он не долго помнил и о задаче, и о решении. Но забыть-то ничего нельзя.

Какая-то задумчивость стала находить на него. Сидит за столом, решает, а вот уже и не решает, а «думает о чем-то своем» и уже давно… И охреневание куда-то подевалось… А ему ведь и нужно было охреневание? Но его уже и нет. Незаметно, постепенно. Медленное изменение незаметно. А иногда при виде задачника его охватывала просто скука. И даже больше, чем скука; временами становилось прямо-таки душно, душно от математики. Душно.

…Он сидел, решал, и вдруг наплывало что-нибудь вроде: его двор, весенние сумерки, джинсовые куртки, сливающиеся с сумерками, компания под аркой, стоят, разговаривают перед тем как расстаться, и он сам, наверно, в этой компании… Его далекое прошлое, на долю мгновения он как будто возвращается туда. А сейчас задачник, тетрадь, ручка в руке, которой он пишет в тетради. А то как же? Зачем? Зачем было то, если сейчас это? Играет «DOORS», они сидят на балконе, он и Друг. На этот раз осень, темно, дождливо. Докурив, возвращаются с балкона, и в комнате «DOORS» становится слышно в полную силу. Зачем он слушал «DOORS»? Чтобы сейчас сидеть… Над этой херней?! А то, значит, просто так было, зря?!!

Он чувствовал, что предает что-то в себе. Предает. Тот образ «молодого ученого», который в нем вызрел, да и всегда жил, что это на самом деле такое? Что-то второсортное, пошловатое… Киношное. Как-то поманило его это к себе, соблазнило. Ну хорошо, «молодой ученый» «молодым ученым», а сама математика? Любил ли он ее? Как говорится, горел ли ею? Полно-те…

Он уже в и д е л что-то. И после того, что он увидел, он уже не мог притворяться, что не видел этого. То есть мог, но именно что притворяться. На самом деле он все время ощущал глубокую внутреннюю ложь, фальшь своей математики. То, довольно длительное охреневание просто на время заставило не замечать эту фальшь. Но охреневание не может длиться вечно. Или может, но оно не может быть основанным на лжи.

Что же он видел? Что-то. Что-то самое главное. Видел или нес в себе с самого начала. И математика не имела к этому ни малейшего отношения. А ухватился он за нее, — он смутно это

чувствовал, — чтобы открутиться от какой-то будущей своей участи. От судьбы. Он чувствовал, что рано или поздно встретиться с ней, и наступит какая-то развязка. И эта развязка будет страшна. Он знал, что ее не избежать и вихлялся, откручивался, отнекивался от нее как только мог. Не хочу-у-у-у… Но его волокло и волокло к ней.

Как будто он уже начинал догадываться, что с ним произошло…

Нет, поманил его не образ «молодого ученого». Был, конечно, соблазн купиться на дешевку — она всегда притягивает, но главное было не в этом. Если и не единственно главное, то — «мощнейший фактор». Детство. Он сидит в утренней, светлой комнате и тычет в книжку пальчик. В книжку с тогдашними детскими формулами. И мама с папой им довольны. Все в согласии со всем. И это утреннее солнце будет всегда. Всегда будет солнце, мама, я. И, конечно, он будет ученым, как его обожаемый отец. И сейчас, своим уже не детским пальчиком, желтым от никотина, он все тыкал и тыкал во взрослые формулы, они были как бы наследницами тех, детских. А трещину, которая образовалась в нем, он не желал, НЕ ЖЕЛАЛ замечать. Он уже другой, другой. А того не вернешь, не вернешь.

А чистота, высота, совершенство? Ведь и к ним его влекло? Да, влекло. Но при чем здесь все-таки математика, математика как таковая?

Впрочем, и с «молодым ученым» не все было так просто. Каким бы ни был этот образ, он был во всяком случае, образом не страдающего человека. Это было очень важно. И он хотел измениться, стать таким вот, нестрадающим. Тем более предпосылки все, казалось бы, имелись. Толстой, наверно, хотел превратиться в простого мужика, а он — в «молодого ученого». Главное — пытаться стать не тем, кто ты есть, а кем именно — абсолютно неважно; как уж, в силу неведомых обстоятельств, тебе захочется. Вот тебе и вся «вера». Он и пытался стать не тем, кто он есть. Даже страстно желал. Но одновременно и не мог, и страстно не желал.

А что там, вдали? Вдали или, может быть, уже близко. Что за развязка? Он не знал. Он только чувствовал, что она неизбежно

наступит. И тогда он в с е поймет. И поймет, что лучше бы не понимал.

Но математикой заниматься он не бросил. Не так-то это было просто. Какая-то привычка образовалось в нем, а кроме того, когда ты занят решением задачи, ни о чем другом ты не думаешь. Занимался он уже не так часто. Иногда, навскидку. А в остальном все шло как шло. Только какая-то страшная масса росла, зрела в нем, постепенно достигая критической.

Он шел по тому месту, — гладкий отсвечивающий каменный пол, где располагались входы в аудитории для лекций. Он подходил к стенду, где изредка вывешивались заметки по истории математики, написанные самими студентами. Он шел, и крупный желтый заголовок заметки, видный из противоположного угла, постепенно рос, прояснялся и, когда до стенда оставалось еще довольно далеко, он прочитал название:

ИСТОРИЯ ГИПОТЕЗЫ РИМАНА

Он поразглядывал название некоторое время. Подумал. Потом начал читать.

…В своем знаменитом мемуаре 1860 г. (единственной своей работе по теории чисел) Риман показал, что ключ к глубокому исследованию распределения простых чисел лежит в изучении дзета-функции как функции комплексного переменного. Однако прошло более тридцати лет, прежде чем были доказаны некоторые из предложений Римана и получены первые результаты о простых числах на предложенном им пути.

…Два основных результата, доказанные Риманом, таковы…

…Кроме того, Риман высказал пять замечательных предположений…

…5) Знаменитая, до сих пор не доказанная гипотеза Римана: все нули дзета-функции в критической полосе лежат на прямой сигма = 1/2. В 1914 г. Харди доказал, что на этой прямой лежит бесконечно много нулей, а Сельберг в 1942 г. — что они имеют положительную плотность во множестве всех нулей.

Существует крайне мало указаний на то, каким образом Риман

пришел к некоторым из этих предположений. В 1932 г. Зигель опубликовал асимптотическое разложение дзета-функции, справедливое в критической полосе, которое содержится в заметках Римана, хранящихся в университетской библиотеке в Геттингене. Из описанных Зигелем заметок видно, что Риман знал о дзета-функции больше, чем это явствует из опубликованного мемуара, но нет оснований полагать, что у него были доказательства каких-либо из предположений…

Риман. Имя, окруженное нимбом для всякого математика. Увидел след его ноги — значит т а м . Можно набрасываться целой оравой. А он уже в другом месте. Серебряное копытце… Борода, маленькие очочки. Серьезное лицо. Так, наверно, выглядели все профессора того времени. Под этим лицом, под этой униформой не поймешь, что это — Риман. Только если показать тому, кто п о н и м а е т , его труды, он увидит, с кем имеет дело. Только так и никак иначе. 1826 — 1866. Туберкулез, как обычно. Так он окончил свой скромный жизненный путь. Очень скромный; только интеграл Римана, дзета-функция Римана, римановы поверхности, риманова геометрия и еще и еще и еще. «Единственная работа по теории чисел»; сто лет прошло и уже больше ста, а все роют, роют, роют. «Существует крайне мало указаний на то, каким образом Риман пришел к некоторым из этих предположений». Знал больше, чем явствует из опубликованного. Доказательств, похоже, не было. Но он з н а л . Он в и д е л .

«А ты можешь, так как он, знать, видеть, предчувствовать? Решать задачи из задачника ты можешь, усердный жук. Так куда ж ты лезешь, дурачок?»

В заметке был описан путь, по которому шли, пытаясь доказать гипотезу Римана, приведены основные этапы. Он читал, понимая только самый, самый общий смысл. Гипотеза Римана, кажется, так пока и осталась недоказанной. Впрочем, в самом конце: «Ж-П. Серр занят сейчас проверкой результатов японского математика, который заявил, что таким доказательством располагает…» Так, на многозначительном многоточии, и оканчивалась заметка. То-то японец расстроится, если окажется,

что у него неправильно. Ну а вдруг? Тогда как он обрадуется!

Одинокая, дикая скала неизвестной высоты, и засечки на ней: имя, результат, год, имя, результат, год; засечки уходят и уходят в неизвестную высоту. А он помнит, как к отцу приходили гости-математики; разговоры, и о математике в том числе, защиты, доклады, публикации, интриги, семейные неприятности, застолье, веселье. Все из плоти, живое, бесконечно-подробное, каждый миг необозрим. И тогда все это было, много шума, много цвета, всегда все это было. Но осталась только одинокая дикая скала. Как все это объединить, примирить? Никак.

«Жизнь гипотезы Римана. Когда-нибудь она оборвется. И гипотеза превратится в установленный факт».

«Наступит развязка».

«Сколько их там, впереди… Точнее, вверху. Я не Крайслер, чего уж. А Крайслер вряд ли станет Шульманом. А Шульман уж точно не Риман…»

В случае с гипотезой Римана развязка обязательно наступит. Если не уже. А его развязка? Наступит ли когда-нибудь она? Обязательно наступит смерть, но развязка?

Он лежал на кровати и думал, что бы такое поделать. Ему ничего не хотелось. Он мысленно перебрал все немногие занятия, удовольствия. Нет, ничего. Как в каком-нибудь фильме про мальчиков и девочек: «Скажи, а чего бы ты сейчас хотел больше всего на свете?» И он вдруг понял, что сейчас, в данную минуту, он хочет одного, — чтобы его не было.

Жить приходится каждый день. Ни перерыва, ни отпуска. Ему стало худо от этого осознания. Как будто это не ясно.

Он проснулся где-то в углу, на какой-то лежанке. Желтоватые, тусклые обои на стенах. Как-то мутно, смутно было в этой незнакомой комнате, как будто здесь еще не выветрился вчерашний накуренный дым. Чужой сервант, и детские модельки автомобилей на нем. Да точно, Серега же собирал модельки. Их целые ряды.

Это было первое, что он увидел, когда проснулся, точнее очнулся. Вчера он нажрался; сначала днем, один, как обычно;

потом продолжил в полузнакомой компании, потом сел на автобус и поехал, имея в виду еще одну, знакомую; там никого не оказалось, но зато он встретил бывшего одноклассника Серегу. Продолжалось уже у него, там была компания, совершенно незнакомая, на столе белая скатерть, много бутылок, много разной снеди, похоже что-то справляли-отмечали; он жал руки, перевесившись через стол, над белой скатертью, задевая бутылки, потом сел, место сразу нашлось, временами мелькала мысль, что надо обязательно позвонить родителям, что ночевать он не приедет; потом вывалились за добавкой, Серега сует деньги швейцару, а он Сереге в этом помогает, уже ночь вокруг; последнее, что он помнит — черно-белый экран телевизора, «шло кино».

Первым делом он глотнул, пожевал ртом. Слюней не было во рту абсолютно. Потом чуть повел глазами, стена напротив качнулась, поплыла, отозвалось мертвящей дурнотой во всем теле, во всем существе; заколотилось сердце. Голова звенела. Все ясно. Пощады не будет. Раззявив рот, он поскреб пальцем по совершенно засохшему языку. Пить. Он попытался встать, сделал движение, но сразу же замер. Лежал с закрытыми глазами, мелко дрожа, покрывшись потом, стараясь дышать поглубже и поровнее, чтобы сердце унялось, но слишком сильный вдох мог вызвать приступ тошноты. Вывернет на паркет… Шут с ним… Так он лежал, замерев, боясь звука, света, движения.

Открылась дверь по диагонали, вошел, разнузданно шатаясь, Серега, его швырнуло к стене. Он как будто еще продолжал вчерашнюю пьянку. Он был нечесан, со вспухшим лицом, что-то свинорылое было в его облике, как у карикатуры с антиалкогольного плаката. На мгновение он даже испугался, даже несмотря на то, что подыхал, — неужели и он сейчас выглядит так же? Серега присел у стола, свесив голову, — свесилась дикая черная грива, казацкий бунчук, — свесив руки между ног, как будто забывшись.

— С-сука!!! — внезапно бешено выкрикнул он, резко вскинувшись, яростно глядя в стену, совершенно трезво, на него не обращая ни малейшего внимания. Энергии в нем оставалось,

оказывается, еще полно, хотя секунду назад он сидел, как полутруп.

Это он с мамашей похоже… У них вечно… Яростно оттолкнувшись ладонью от поверхности стола, Серега поднялся, приволакивая ноги пошел по комнате, глядя вниз, по стенкам, заглянул за сервант.

— Все выжрали… — пробормотал он, как будто лишний раз удостоверившись. И как будто неодобрительно, хотя сам же был среди выжравших.

— Ладно, слышь, — вполголоса сказал Серега, впервые заметив его, — ты как, жив? пойдем ко мне, ну ее на хер…

И пошатываясь пошел к двери.

— Серега, — позвал он. Но не получилось, только просипел.

— Серега, — уже слышно.

Серега свалился на косяк, как будто переломившись, одна нога выехала вперед; мрачно глянул на него: чего, мол?

— Воды дай.

— А-а… Вроде какой-то запивон там оставался. Сейчас, поищу.

— Дай ВОДЫ.

Он говорил слабо, боялся потревожить голову, но как мог выразительнее шевелил губами, скалил зубы, чтобы до того дошло. Искать будет полчаса свой чертов запивон.

— Ты че, из-под крана будешь, что ли? Ее ж пить нельзя, хлоркой, сука, воняет, как…!

Поморщившись от отвращения он вышел.

Пить. Пить.

Тишина. Потом вроде неясный шум. Потом, вроде, Серегин голос: «Все, сказал! Все!! Все!!! Вся-я-я!!!!» Хриплый, безобразный, алкашеский голос, вытрезвительный голос. Когда он успел так научиться? Другого голоса он не уловил. Однако, а что, если мамаша заглянет сюда? Он запаниковал. Сейчас придет, чтобы добить. Этого он не выдержит. Так, хватит здесь лежать, надо действительно в Серегину комнату. Встал в два приема — все закачалось; скривился на один глаз от боли в голове, сердце снова заколотилось. Весь в поту, напрягая последние силы, пошел к двери. Сознание вдруг на миг пропало, показалось, что сейчас

грохнется; рванув дверь на себя, он вышел из комнаты. Оказался в каком-то межкомнатном пространстве. Немного постоял, просекал, где Серегина комната, в этой квартире он бывал и раньше. Криков пока не было, мамаши тоже не было видно. Он скользнул — насколько мог скользнуть — в Серегину комнату. Там стоял стол, за которым пили вчера, он был все так же покрыт белой скатертью. Бутылок меньше, хабарики в блюдцах с остатками жратвы. Пить нечего. Мать… Он осторожно сел в угол дивана, осторожно, постепенно откинулся. В другом углу сидел из параллельного класса, едва знакомый. Он не помнил, что он был вчера. Вяло пожали друг другу руки. Молча сидели. Сереги не было. Мимоходом вспомнил, что тот, в другом углу дивана, считался бабником. На нем, кстати, вчерашняя сумасшедшая пьянка почти не отразилась, только несколько нездоровый румянец, и глазки поблескивают как-то не так. Зовут его Юркой, точно. Усы и глаза вразлет. Здоровый. «Куда этот подевался, не знаешь?» — обратился бабник к нему, с некоторой тревогой. Немного посидев, достал расческу, подошел к какому-то мебельному зеркалу. Его шевелюра не так уж сильно пострадала. «Бабник», — подумал он, глядя, как тот причесывается. Сам мельком взглянул на себя в зеркало. Свинорылый. Открылась дверь, вошел Серега, с размаху сел верхом на стул у праздничного стола. Бабник сразу оживился, забеспокоился.

— Слышь, Серый, она ментов точно не вызовет?

Серега сидел со свисающей сигаретой в углу рта, искал спички, шаря по себе. Ответил, погодя.

— Не, не вызовет…

Прикурил, затянулся, вздохнул.

— Серега, ты пить мне дашь, нет?!

— Тьфу, блин, щас.

И он начал заглядывать туда и сюда, в углы, под стол. Долго.

— Серега, ты нарочно, что ли, ...в рот?!!

Он немножко уже окреп, от хожденья, разговоров. Расходился.

— Ша.

Ладонь вверх. Не на-да, мол. «О! Говорил, блин!» Откуда-то извлек целую, запечатанную бутылку пепси-колы. Чпок — открыл об ремень. И протянул ему. Не вспенилось, не полилось.

Издав хриплый, низко-горловой звук, он обхватил губами бутылочное горлышко. Он пил, теряя рассудок. Все же остановился на середине.

— Добивай, там еще есть. Вчера забыли…

Он допил, сидел переводя дух, слезы на глазах от облегчения. Немедленно с новой силой начало тошнить.

— Пепси… Ништяк…

— С бодуна по кайфу, — веско согласился бабник, пряча расческу во внутренний карман.

Потом Серега и бабник пили каждый из своей бутылки. Бабник пил просто лимонад.

— Пойдем в «гадюшник», — на бодрой ноте предложил бабник, и даже на него посмотрел, призывая в союзники.

«Гадюшник» — это пивной бар.

— Ссанье там пить? — отреагировал Серега.

— А ты что предлагаешь?

— Ладно.

В смысле, посмотрим.

— В ресторан, что ли, сходить, — размышлял вслух Серега, с унылой капризностью, — пожрать хоть по-человечески.

Мать у Сереги была уборщицей. Отца не было. Сам Серега пропивал почти все, что зарабатывал на заводе. Позади него стоял книжный шкаф, он, не оборачиваясь, стал шуровать в книгах, локоть за голову, как будто мочалкой тер себе спину. Посыпались червонцы.

— Да на хрена в ресторан. Пошли, говорю, в гадюшник. Пивка для начала…

Серега исчез из поля зрения. Он собирал деньги.

Ему самому было не до ресторанов.

— Мне сейчас только в ресторан. В поднос им там блевать…

Поблевать, в правду, что ли, сходить? Легче будет. Только решиться, потом будет легче. Но мамаша…

— Ладно, чо здесь сидеть, — объявил, наконец, Серега, — пойдем куда-нибудь.

— В гадюшник.

— Ну давай в гадюшник, хрен с тобой.

Долго возились в прихожей. Ему никак было не распутать шнурки, — завязал вчера на два узла. Перед самым выходом бабник вдруг опять забеспокоился: «Слышь, Серый, у тебя есть чем туфли почистить?»

— Чего? — первый раз за сегодня Серега вроде бы улыбнулся; будь у него пузо, оно бы, наверно, колыхнулось, — хорош дурковать, пойдем. — Чуть ли не прибавил: «Горе мое».

Но мамаша все-таки застигла их перед самым выходом. Вылетела невесть откуда, закричала как резаная. Он видел яростные, страшные молнийки в ее глазах, маленьких, черных, блестящих. Красные руки в свекле, нож в руке. Подхватив башмаки, он в панике кинулся к двери. Как она открывается, блин?! Бабник мгновенно пришел ему на помощь, ловко открыл дверь, шустро выскользнул; он, с башмаками в руках, без куртки, за ним. Дверь медленно отъехала настежь. Трясущимися пальцами он пытался развязать эти гребаные шнурки, — как назло, блин, — одновременно слыша, видя, как Серега тоже начинает орать в ответ, все громче и громче. «Иди отсюда! Иди отсюда, я сказал! Иди отсюда!!!» Серега наступал на мамашу, рука отброшена, пальцы растопырены. «Иди отсюда!!!!» — опять этот вытрезвительный голос, как будто нарочно побезобразнее. Дверь захлопнулась. Он, наконец, развязал шнурки, принялся быстро завязывать. Там стихло. Дверь спокойно открылась, вышел Серега, по его виду было невозможно догадаться, что это он только что так орал. Решительно захлопнул дверь, начал спускаться.

— Слышь, Серега, дай куртку, куртку забыл, понимаешь…

Он говорил едва ли не шепотом.

— А какая у тебя? — спросил Серега совершенно нормальным голосом, громко.

— Да синяя такая, с капюшоном, — он был готов и далее ее описывать, но Серега четко кивнул, достал ключ, открыл дверь и

без следов всякой поспешности вынес ему куртку. Бабник Юрка ждал, похоже, на следующем пролете. Видно его не было. Ну вот, теперь шнурки никак не завязать, слишком расторопно он их завязывал. Услышал спускающиеся, удаляющееся шаги. «Эй, мужики, куда вы, меня-то подождите! Щас я!» Он вдруг испугался, что они уходят, вот сейчас совсем уйдут, он останется один, среди четырех дверей, они готовы распахнуться в любой момент, орущее, перекошенное покажется в них, а он подыхающий, с этими шнурками… От страха он даже позвал громко, как будто боялся, что они не услышат, хотя ясно, что они слышали. Шаги одновременно замерли. Тишина.

Был конец апреля. Стояла самая настоящая жара, ни с того, ни с сего. В куртке он быстро спарился, приходилось тащить ее на руке. Быстро достало ее тащить, смертельно. Было хреново. Чуть полегче стало после самого утра, а теперь так будет до самого вечера, пока не ляжешь спать. Скорей бы… Завтра уже будет нормально. Они брели каждый как будто сам по себе, но все в одном направлении.

А он вчера так и не позвонил родителям. Вырубился раньше. Но несколько раз порывался. Но сегодня придется идти домой.

А сколько контрольных не написано? Со своей математикой он ту, школьную математику забросил. На семинарах, наверно, уже забыли, как он выглядит. А с родителями сегодня придется говорить. Придется.

— Мужики, давайте сделаем перерыв, что-то я не могу больше.

Все трое брякнулись на сухой бордюр. Молча курили. Ладно, еще успею домой… Успею еще, успею! Хреново как все-таки…

— Время сколько сейчас?

Ни у кого не было часов. Слава богу.

В гадюшнике было прохладно. Пиво, соленая рыба на блюде. Об алкоголе он думать не мог, а с пивом он вообще не знал, что делать, не знал, зачем оно вообще существует. Иногда ноздри улавливали его сырой запах. С вялым любопытством понюхал рыбу, сразу сделалось муторно. Бабник ловко, привычно, управлялся с рыбой, пил пиво. Как будто не похмелялся, а пришел приятно

провести время. Серега брезгливо поморщивался, иногда бросал взгляды по сторонам, и тем, что он видел, он был явно недоволен. От рыбы он тоже отказался, едва понюхав ее, обидно при этом обозвав. Бабник сдержанно пожал плечами. Пиво, однако, Серега пил, тоже, впрочем, предварительно его обругав. А он откинулся, насколько было возможно, на прямую, твердую спинку и прикрыл глаза. Немножко хотя бы посидеть не двигаясь, в прохладе. Серега с бабником вполголоса переговаривались, о своем. Говорил все больше Серега. Ментов вызвала… стекло в шкафу разбил… сказали, сами разбирайтесь… сотрясение мозга на восьмое марта… Он когда-то немножко общался с Серегой. Любимой книжкой у Сереги было «Преступление и наказание». А раньше — Эдгар По.

Наконец они вышли из гадюшника, мающийся Серега, держащийся как ни в чем ни бывало бабник. Ему все хотелось прилечь, и он знал, что сейчас надо ехать домой.

— Ладно мужики, бывайте. Поехал я.

— А че так? Сейчас чего-нибудь путевого возьмем.

— Да не, хватит с меня. Ну, давай. Давай, — он пожал руку сначала Сереге, потом бабнику. И пошел к остановке. Куртка размоталась, поволоклась по пыли. Он вздернул ее за загривок, скомкал, смял как можно плотнее, и ком понес под мышкой.

Он медленно поворачивал ключ в замке, злясь на свое малодушие, на всю поганость ситуации. Ступил через порог, в прихожую. Родители сидели в его комнате, у его стола, по разные стороны, и смотрели оттуда в прихожую, то есть туда, где только что появился он. Сидели в застывших позах, как будто фотографироваться. И как будто уже много часов подряд.

Мы уже все морги обзвонили.

Он никак не мог начать говорить. Ворочал во рту своим обожженным языком. Ему нет прощения.

Я хотел вчера позвонить. Ей-богу. Вырубился…

Ей-богу хотел позвонить. Ну правда, ей-богу. Все время помнил, ей-богу. Он все талдычил свое «ей-богу», и чувствовал, как дрожат ноги, как всего его тошнит, как голова наливается какой-то мерзостью.

Действительно хотел? Отец смотрел все так же мрачно, медленно, и прямо ему в глаза, но слегка как будто приподнял брови. Не то чтобы с надеждой, а, скорее, с неким отстраненным любопытством.

А вы действительно думаете, что я способен так всех бросить, про всех забыть? Уже как будто с каким-то встречным обвинением.

Я не знаю, на что ты способен. Отец пожал плечами с некоторой презрительностью.

Он, кажется, начал что-то говорить, но отец опять сказал:

Я думаю, наплевать ты способен на кого угодно.

Но это же… Я ей-богу, действительно… Но тут вступила мать, уже в тоне «мамаши», в тоне взбучки. Пьянки твои бесконечные! Кончится это когда-нибудь?! Мы что, не видим?! Учиться ты как собираешься?! Хвостов много у тебя?!

Он почувствовал мгновенное облегчение от того, что самое трудное позади — прийти и первый раз посмотреть, первый раз сказать, первый раз услышать, — но, однако, взбучка только начиналась, ее предстояло терпеть и терпеть. Мать все обвиняла, насчет пьянки, насчет учебы. Осмелев, он уже отбрехивался, не без дерзости. Да куда денутся эти контрольные?! Да не так уж я и пью, бросьте вы! Да нормально все! Ему уже казалось, что все, достаточно, он уже свое получил. Когда он только вошел, он сразу увидел мать и отца, сразу увидел, что они не спали всю ночь, сразу представил, что они при этом чувствовали, пока он обливал себя бормотухой, спотыкался, валился, пьяно здоровался через скатерть, куражился, выеживался, бегал за добавочкой; он сразу увидел все это и понял, что ему прощенья нет. Но прошло совсем немного, и он чувствовал себя едва ли не самым главным пострадавшим. Сколько можно, в конце концов, тарахтеть? И так все понятно, пора бы уж…

Он все так и стоял в прихожей, огрызаясь на них, как будто из клетки. Башмаки он так и не снял, а осточертевшую куртку уронил где-то рядом, куда попало, каким-то краем почувствовав маленькое удовольствие; пнуть бы ее еще, суку. Вдруг крупно

дернулась, вильнула нога, какой-то идиотский фортель; он почувствовал, как что-то внезапно набрякло, вспухло в голове, какая-то тошнотворная гадость там, мерзость. Он не мог больше стоять на одном месте и пошел в комнату. Куда в башмаках?.. Чистый пол… Что-то такое до него донеслось, но ему было на это наплевать; он уселся на диван, пытался расстегнуть верхнюю пуговицу на рубашке, она оторвалась, держалась на ниточке, он почувствовал прилив жара к голове, к спине. Стало до того хреново, не мог больше, и он заговорил, потому что надо было что-то делать, иначе он околеет прямо здесь, на этом диване.

— Веселюсь, говорите?! Вы бы… Послушайте! Нет, послушайте! Я расплачиваюсь за какие-то чужие грехи! Я их не совершал! Кальвинизм какой-то! Мне суждено погибнуть! И вы виноваты! Ты виноват! Я не могу жить! Вы виноваты! Кальвинизм какой-то!

Каким-то краем он увидел, что мать было возмутилась, но сразу же испугалась, хотя и продолжала говорить как бы все тем же тоном, так же громко, но все равно, это уже был скорее лепет; она с испугом вглядывалась в его лицо. Отец пропал из поля зрения.

Голова переполнялась, сейчас она лопнет; он резко встал с дивана и пошел, вокруг все плыло, шаталось. Голоса. «Кальвинизм» — хрипло, сдавленно сказал он еще раз, направляясь к дверям; его перемкнуло с «ей-богу» на «кальвинизм», задребезжало стекло, — он грубо саданул плечом деревянно-стеклянную перегородку в комнате, — шарил по нагрудному карману, надо немедленно закурить, хоть что-то сделать, открыл слабыми, эфемерными руками дверь. У своего мусоропровода он закуривал неправдоподобно прыгающими руками. Сейчас какая-нибудь трубка лопнет в голове… И хана. Дверь он, оказывается, за собой не закрыл. Побледневшая мать спускалась к нему. Тебе воды принести? Корвалольчику? Ты не волнуйся, не волнуйся. Он со всхлипами курил папиросу, держа ее двумя руками, как духовой инструмент. Тупая боль наваливалась на затылок изнутри. Он почувствовал, что сейчас его вырвет; он затянулся изо всей мочи. Спокойно, спокойно. Все нормально… Голова что-то… Говорил он вслух; мать стояла рядом и держала его

за руку, за сгиб руки. Потом понеслась за водой. Потом он сидел на мусоропроводной крышке и пил воду из чашки, зубы стучали о фаянс.

Медленно поднимался наверх. Все тело меленько-меленько дрожало, но уже расслабленно, а не судорожно. Тошнотворный прилив в голове схлынул, теперь она просто болела. Жарко не было, наоборот, скорее зябко. Потом он сидел на кухне, навалившись локтями на стол, положив подбородок на сцепленные руки, глядя вниз. Ему полегчало… Он чувствовал, что сильно хочет ссать, пять минут назад совсем не хотелось, а теперь вдруг… Мать была рядом. Ну? Как, лучше? Да, мам, сейчас нормально. Ты, с твоим сердцем, и пьешь! Мать сказала это внезапно тонким голосом, он взглянул на нее и увидел ее глаза, налившиеся слезами. Она смотрела на него как бы со стороны, как будто чтобы проникнуться, прочувствовать всю… Не надо, умоляю тебя. Сколько вы хоть выпили вчера? Может, рассольчику хочешь? Давай, рассольчику. Ее крестьянская родня… Она все-таки оживилась после того, у мусоропровода, и теперь делала то, что и положено делать в таких случаях. Он услышал «рассольчику» и почувствовал обильные слезы на глазах. Он смотрел, как она мигом извлекла огромную банку, прытко, ловко открыла ее открывашкой, не пролив ни капли плеснула в большую чашку («Бабушкина», — подумал он). Она с удовольствием делала это простое и понятное дело. Он выпил рассольчику. И еще рассольчику. И еще. Спасибо, мама. Спасибо. Спасибо. Он вдруг увидел, что гладит ее по руке. Убрал руку. Ладно, пойду я, полежу. Да, все, нормально. Стекло там цело? Цело. Сидя в туалете он услышал глухой, хрипловатый голос отца: «Ну как он?»

Наконец-то он лег. В свою постель, стянув шмотье. Теперь можно не шевелиться, не бояться, что сейчас кто-то войдет, заорет до вспышек в глазах. Горячую морду в прохладную подушку. И пить больше не хочется. И потянуло в сон…

А назавтра он увидел задачник по математике, раскрытый неизвестно где — страницы стояли дыбом, ощетинились; тетрадь и ручку на ней, и колпачок рядом. И он вспомнил гадостную

портвяжную сладость в горле, гадюшник с соленой рыбой, «Вы виноваты!», побледневшую мать, отца с серым лицом, с лопнувшим сосудиком в глазу, задребезжавшее стекло, Крайслера, гипотезу Римана…

«О господи, господи!!! — вдруг заорал он, не издавая ни звука, — Что я делаю не так?!!! Ну что ты крутишь меня, вертишь?!!! Что ты мучишь меня?!!!»

Он бегал и переписывал, точнее писал контрольные. К тому времени, когда все уже получали зачеты, у него написанных контрольных не было. Он выучивал, как решаются задачи из контрольных. Материал ему был почти незнаком, но он брал образцы и действовал по аналогии, шаг за шагом. Мать все терзалась, что его выгонят. Он говорил, что не выгонят. Вовсю был май и даже уже подходил к концу. На факультете он был неотлучно. Занимал очередь сразу в три места: везде надо было поспеть, и везде близость к зачету была разной. Начались экзамены. Сразу пришлось переключиться на них, сидеть с конспектом заполночь, поглощать огромные куски не прожевывая, хоть как-то вбить их в голову. Экзамены он сдал не хуже, чем всегда, только все-таки не успел получить допуск на последний; его он сдавал с теми, кто уже успел получить по нему двойку, то есть на пересдаче. «Четыре хотите?» — спросил преподаватель. «Хочу» — очень спокойно ответил он, как контрабандист, которого вот-вот пропустила таможня, не догадавшись заглянуть… он знал куда; «четыре», ответил он спросившей его девице, которой еще предстояло пересдавать, «гигант мысли», механически проговорила парализованная страхом девица, блуждая взглядом. Это был последний экзамен. Все.

Он шел по какой-то малознакомой улице, — как будто из совсем другого, далекого, провинциального городка. Погода была хорошая, и майка не была поддета под рубашку, хотя в теньке было прохладно. Вдруг что-то щекочуще коснулось его шеи, он вздрогнул, цапнул рукой себя за шею, думал какой-нибудь жук; и снял с нее немного тополиного пуха. Он держал его в щепоти и смотрел на него. Потом посмотрел вокруг. Тополиный пух везде.

Точно! Это же лето! Всегда в эту пору его мотает. Вот позавчерашняя лужа, занесенная им… Зачерпнул его оттуда, прихватив воды… Лето! Когда в последний раз он по-настоящему его замечал? То, что когда-то любил, может быть, больше всего на свете. Лето. Чего тебе еще надо, ну? Какого хрена тебе еще надо? Он как задохнулся. Прислонился спиной к какому-то дереву — тоже, наверно, тополь, — затылок на кору, твердо давящую какой-то своей твердой морщиной, и раскрыл рот, задышал, задышал, а слезы уже готовы на глазах, и одна уже отяжелела, оборвалась, поползла, и он почувствовал ее углом рта. Последний раз трезвым он ревел в детстве. Он стоял, прислонившись к дереву, и смотрел на лето, внезапно открывшееся, ослепившее его. В руке он все еще держал тополиный пух, и другая слеза тяжелела в другом глазу.

«Не для меня…»

Другая слеза оборвалась и потекла. А скоро ведь уже середина лета, уже пол-лета прошло. И ночи опять будут становиться длиннее и длиннее с каждым днем. Двадцать второе июня уже позади. Позади то время, когда прибывает и прибывает, побеждает день. Свет. Скоро уже август — прощай! Упустил, не заметил, не сберег…

И лето закрылось. Он все так же стоял, но уже не видел лета, он знал только, что сейчас лето — одно из времен года, вот и все. Стоять было незачем, и он пошел дальше. После слез побаливала голова.

Как всегда, он поехал с родителями отдыхать — на их обычное место. Ему никакого другого места и не надо было. И там погода была вполне приличная. Лето все-таки славное время, чего уж там. По вечерам они с отцом играли в волейбол. Играли до темноты, пока мяч не начинал, вдруг, на долю мига, пропадать в полете. Возвращались домой мимо озера, потемневшего, притихшего. В этом месте, в этом городе, он, можно сказать, вырос. Это было место, где на законных основаниях можно было ни о чем не думать. Пожалуй, только здесь и больше нигде. С отцом они опять становились дружны — так, как и прежде, — много проводили времени вместе, говорили «об умном». Ведь у него был очень умный

отец. Здесь как будто наступало продолжение всех предыдущих отдыхов, не знающее, что было еще что-то между ними. Самое свое главное он с отцом, правда, не обсуждал, он как-то понимал, что тут никто не может помочь. Если бы можно было, конечно, отец бы ему помог. Но беда только, что в этом-то, самом главном, это как раз и было невозможно.

И мать здесь явно была довольна им. Он был постоянно под боком, читал, не пил, «вел здоровый образ жизни». Чего еще ей было желать?

В этом городке был неоготический костел, за костелом — озеро, за озером — кладбище, которого было не видно из-за деревьев. Кладбище было небольшое, уютное, какое-то даже не совсем настоящее — в нем не было той жуткой однотипности, расчерченной на квадраты серийности, серийности новостроечных окраин, расходящихся от тебя на целые мили, как было, в основном, на до сих пор попадавшихся ему кладбищах. Католические кресты, фамилии латинским шрифтом. Очень много польских. Кладбище как-то хорошо дополняло этот тихий, спокойный городок. Почему-то оно было совсем не страшным, скорее даже умиротворяющим. Еще здесь была быстрая река, где плыть было можно только по течению. Он любил выходить к ней, особенно по вечерам. Шел по одинокой, но заасфальтированной дорожке, которая почти все время шла через лес, пересекал мостик через маленькую речушку, почти ручей, — но сначала обязательно стоял на нем и курил, часто хлопая себя по голове — из-за комаров, потом сходил с дорожки. Шел по лесу, выискивал и рвал по дороге малину, ту, которую еще не успели оборвать. Неподалеку была танцплощадка, оттуда бухало. Потом лес редел, и из-за сосновых стволов то и дело мелькало заходящее солнце. По плотному, чистому песку он всходил на отвесный берег, стоял среди ни часто, ни редко, а в самый раз разбросанных сосен, смотрел на несущуюся реку, на закат, на другой берег, более лесистый, тихий, дикий, уже не освещаемый солнцем. Здесь он любил пребывать подолгу. Присаживался на сосновый корень или прямо на песок. Комары только надоедали. Иногда приходилось стряхивать муравьев.

И здесь он занимался математикой. Как-то уже усвоил эту привычку. Зачем он ей занимался, для чего — он старался об этом не думать, и здесь не думать вполне удавалось. А заниматься было приятно. Ощущение чистоты, какой-то благости. Он разобрал то, что так недавно, в прошлую сессию, с такими трудами, с таким надсадом сдавал; принялся решать задачи из новых разделов. Он — смешно — довольно здорово окреп за это время в математике. Что ж, если каждый день поднимать гантели, то волей-неволей станешь сильнее, что бы ты сам об этом ни думал. Задачи шли хорошо. В задачнике рядом со многими из них, в скобках, стояли фамилии. Знаменитые фамилии. Когда-то это был чей-то результат. «Взрослый». А он решал эти задачи, значит получалось, что он как бы не хуже. Но те-то знаменитые сначала д о г а д ы в а л и с ь до чего-то, в и д е л и что-то, а потом, уже увиденное, доказывали. А он, увы, доказывал то, во что его ткнули носом — на, видишь, интересная вещь, ее стоит доказать. Попробуй. И доказывал он на основе этими же фамилиями созданной крепкой, стройной теории. Было трудно, на решение уходило по нескольку дней. Но в большинстве случаев он своего добивался. Впрочем, иногда и нет. Но он был настроен ровно, благодушно — нет, так нет.

К этому времени он, кстати, просмотрел кое-какие книги по математике, не учебники, а работы «старых мастеров». Работы тех, кто когда-то создавал то, что теперь вошло в учебники. Что его удивило и даже поразило, так это то, что математика развивалась совсем не так, как можно было бы подумать, переходя с одного курса на следующий. Некоторые вещи, которыми занимались самые выдающиеся математики девятнадцатого, а то и восемнадцатого века в общую программу вовсе не входили, а читались на спецкурсах — принадлежали теперь к высшей материи. У некоторых теорий обнаружилась куча подходов. Один подходил так, другой этак, третий еще как-нибудь. Речь шла о какой-то одной «объективной истине», но как по-разному ее видели в те времена! Для каждого она представлялась в каких-то своих одеждах, каждый отталкивался от чего-то своего, от какого-то своего видения математического мира; видел в ней что-то л и ч н о свое, мыслил какими-то

своими, родными ему образами. Один напирал на одно, второй на другое, третий на третье. Теперь все это отлито в одну теорию из учебника: четкий ряд определений и теорем, вот и все. А многое у старых мастеров не дошло до современного учебника. Осталось их «личными проблемами», интересными лишь историкам математики. Таким, как Крайслер, Шульман, все это было, похоже, не шибко нужно, — современных учебников им вполне хватало; прочитать, врубиться — и творить самим. Ряд р е з у л ь т а т о в , нужных для них, вот что их интересовало, и более ничего. А его самого, похоже, больше интересовали не результаты, а то, как подходили к этим результатам, как они открывались, виделись тому или другому. Его восхищало многообразие л и ч н о с т е й , идей; идей, пусть даже умерших (хоть, может, и не навсегда). Его интересовала сама жизнь.

«А что такое «научный подход»? Научный подход — это не врать. Не врать себе. Что такое врать — знает каждый. Врешь — это когда врешь. Не подгонять под ответ, который бы тебя устраивал. Не ссать — вот что такое научный подход».

Лето подошло к концу. Пополз третий курс.

Первый звонок прозвенел ненастным осенним вечером. Была уже поздняя, очень поздняя осень. Он возвращался из города, в темноте, на ветру. До вокзала было еще довольно далеко. Он был не один. Они разговаривали, подсмеивались по поводу чего-то. Он знал, про что они говорят. И даже механически участвовал в разговоре, слегка улыбался. Но сейчас ему было совершенно, совершенно не до того.

У него было плохое настроение. Плохое настроение — не то слово. До сих пор оно и было у него, в основном, плохим. А сейчас… как-то не по-хорошему оно было плохим. Оно было злокачественно плохим. Он чувствовал это. Такое было в первый раз. Это он чувствовал, но он также и предчувствовал, что это может быть знаком, началом чего-то другого, нового в его жизни. Чего до сих пор он не нюхал. По сравнению с чем предыдущее — детский лепет. Ночь заволокла… В голове было темно, только на самом дне чуть теплились, чуть шевелились огоньки. Отвесный

мрак. Он шел среди размазанных пятен света. Как будто по какому-то гигантскому дну, чего-то гигантского. Трудно было переставлять ноги, было непреодолимое влечение шмякнуться кулем. Но надо было идти.

«Я болен… Да, я болен…»

«Это депрессия… Да, это депрессия. Плохое настроение — это другое. Я хоть и не разбираюсь в этом… Но это уже… не лезет… ни в какие ворота… Здравствуй, депрессия».

«Доползти до дому. Там лечь. Там свет горит… Люстра… Лечь…»

Тяжелое, черное надвигалась и опрокидывало его. Ему стало страшно. Страшно, как в шахте лифта ночью. Продуваемый насквозь ноябрьским ветром тамбур. Оба стекла выбиты. Вон, валяются выбитые стекла.

— Ты че?

— Да ниче. Давай курнем.

Электричка тронулась. Он сидел в желтом от света вагоне. Видел лица тех, с кем был. Казалось, они чуть-чуть фосфоресцируют. Легкий, маленький светик расходился от каждого. И двигаются вроде медленно, как будто плавают. Голоса чуть-чуть, кажется, глуше. Сосредоточиться, напрячься на секунду, — все нормально, говорят как обычно, лица как обычно, движения. Отпустить — опять все сползает, съезжает.

«Сердце… оборвется…»

«Ф-у-у, мать…»

Они расстались где-то на полпути между станцией и его домом. Он попрощался как манекен. Дальше он шел один. Фонари светили как-то чуть-чуть маслянисто, как-то чуть-чуть масляно. С жуткой масляной ласковостью. И мрак вокруг был какой-то мягкий. Мягкий, медленно и нежно крадущийся, подкрадывающийся, как будто желающий нежно погладить. Он мягкий, нежный, но жуткий. Жуткий, страшный. Он добрался до дома и там лег на свою кровать, свернувшись. Люстра светила темно. Он повернулся лицом к стене. Темный, шевелящийся в глазах узор ковра. Так он лежал на самом дне.

Вдруг что-то взорвалось в нем, в голове. Гигантская рыбина

ударила хвостом. Обезумев, он резко вскочил, сиганул зайцем с кровати, хотя миг назад сил не было. Он очутился на середине комнаты, прижав ладони к голове. Он ничего не понимал, не узнавал. Слепящий свет, знакомые предметы, но все равно непонятно откуда взявшиеся. В коридоре он стал по-быстрому завязывать шнурки.

— Да так, я ненадолго.

Он шел к Олегу, который жил в соседнем парадняке, так что одеваться было не надо, только натянуть башмаки. Олег жил один, к нему можно и в двенадцать, а сидеть хоть до трех. Он ничего не думал, он шел. Как, к тебе можно? Ну, давай. Он сел в кресло и начал курить. Здесь можно курить в комнате. Огромное преимущество. В комнате еще был Витя. Здоровенный жлоб. Он был сильно пьян. Сидел боком к столу и, свесив голову над ним, что-то не то чертил, не то рисовал на бумаге. Олег возился со своими электросхемами. Быстро выкурив одну, он начал другую.

— Щас… Подожди… Не так…

Почему-то Витя в этот вечер всем предлагал решать какие-то геометрические задачи на смекалку. Где он их взял? Но его с чего-то на них заклинило.

— Щас… Как оно там было, блин! Олег, иди сюда!

— Отвали, — благодушно откликнулся Олег за своими транзисторами; как бабушка за вязаньем внучку.

Витя тяжело поворотился на стуле, тяжело, как лошадь, вздохнув. Увидел его, приулыбнулся железным зубом из-под табачных усов. Мутно помахал ручкой, как будто прощаясь. Это было приветствием. Он подсел к Вите. Тот хмурил лобик, вспоминал, начинал чертить, бросал. Он пытался помочь Вите достроить задачу, но у него тоже ничего не получалось.

— Ладно, хрен с ней… Щас… Чертится три ромба… Или нет… Чертится…

«Да вспомни ты хоть что-нибудь, дубина!» — думал он. Так бы хоть поразгадывал что-нибудь. Так ничего и не вспомнили. Он пошел домой. Холод на горячую голову, успевшая появиться мелкая морось, налететь, обсесть, как саранча. Слишком много дыма в

глазах, на воздухе хорошо. Так, это дома, это мой парадняк, это лестница, лифт, кнопка, все нормально — думалось ему. Он думал очень осторожно, еле-еле, чтобы случайно не задеть, не сдвинуть что-нибудь своими мозгами, чтобы мир опять не стал ужасен, чтобы его внутренний ужас не сомкнулся с внешним, чтобы он не утонул в этом сплошном, слившемся ужасе.

Дома он зарылся, заховался в постель, лицо в подушку. В голове ничего не было, только иногда вспыхивали красные искорки, — страха того, что то вернется. И на дне медленно шевелилось, перетекало что-то темное, бесформенное. Как заснул, он не заметил, похоже, быстро.

На другой день вялое пробуждение. Застывшие слезы в глазах. В окне хмурый, уже почти полный день. Он вспомнил вчерашнее. Самым страшным был тот момент, когда он сорвался с дивана. Вышибающее напрочь мозги. Единое ощущение — вселенского отчаяния, вселенского ужаса, всего худшего, что есть, оно входит в тебя, оно сейчас и есть — ты. Что-то немыслимое, безумное, лежащее за всякими пределами. Такого не было раньше. Принципиально новое явление.

Третий курс полз и полз. Больше пока такого не повторялось, и он почти забыл, но одновременно, конечно, помнил: такого нельзя забыть, это уже намертво засело в нем. Кто-то зачем-то показал ему кузькину мать. Настоящую.

Экватор — отучился полсрока; распределение по кафедрам, он пошел на отцовскую кафедру. Взял тему курсовика у преподавателя, порекомендованного отцом. «Интересная задача» — сказал отец. Конечно, интересная, подумал он. Все задачи интересные. Если тебе интересно. Три точки бегают по тетраэдру и ловят четвертую. Когда они ее поймают? И поймают ли вообще, вдруг она может так хитро бегать, что ее вообще никогда не поймаешь, как ни исхитряйся, тогда, может, еще добавить сколько-то точек, чтобы наверняка? тогда сколько их надо добавить, и чтоб как можно меньше? но, может быть, они ее все-таки могут поймать, тогда как она должна бегать, чтобы подольше продержаться? Или… Что-то в этом роде. Руководитель дал ему свою статью. Он иногда занимался

всем этим, что-то придумывал, прикидывал. Иногда было действительно занятно. И тогда даже чувство «молодого ученого» как-то полувозвращалось. Он же жил все это время. Менялись погоды. Медленно переходили друг в друга времена года. Пилась водка, запивалась водой, гнусно отрыгивалась, косила мозги. Доставался из пачки, курился беломор, одна пачка кончалась, комкалась, выбрасывалась, начиналась другая. Что-то елось, пилось. Разговаривалось. Переписывались контрольные. Иногда, сидя за партой, тупо смотрелось в спину девушке, которая ему вроде нравилась, да было все как-то не до нее. Девушки потом. К ним он, кстати, относился высокомерно, сам того не замечая. Да и вмазал сто грамм — вот тебе и вся любовь. И никто тебе не нужен. Или уж, возьми по-простому хрен в кулак…

Но иногда возвращалось т о состояние. Его он узнавал безошибочно. Когда мрак делался мягким, странным, страшным, когда фонари масляно, ласково, жутко начинали смотреть на него. Все вокруг было неопределенно, приглушенно. Но он был. Совершенно отдельный. Это было нечто вроде помеси острой тоски и ожидания какого-то ужаса, какой-то казни, единое ощущение, тяжелейшее, гнетущее к земле, и было в нем что-то ирреальное, фантастическое, и этим оно было похоже на сон. Лежал как-то на диване, а из радио на кухне доносилась песня, которая болталась в ушах с самого детства. Доплыла она и досюда.

Тлеет костер, варится суп с консервами,

Скажут про нас, были ребята первыми…

И такой вдруг горячей, живой болью обожгло его, что он, лежа на диване, слыша песню, только сглатывал — не слезы, а что-то другое, имеющее, наверно, другой химический состав. Глаза его, во всяком случае, были сухими. Песня кончилась, а он остался лежать на диване. Самое страшное наплывало вечерами. Дни были еще туда-сюда, обычные — тусклые, тупые, хотя тот же самый налет чувствовался и в них, а пробуждение было горьким, полным маленького, плявого отчаяньица сквозь недосып и собирание в университет; но именно наступления вечера он страшился. Собственно, и то, что было вечером, можно было выносить, но он

боялся, что его опять скомкает, швырнет, моментом свинтит крышу, как тогда, тем первым осенним вечером, когда прозвенел первый звонок, и непонятно, что будет тогда, дальше шла какая-то беспредельность, запредельность, и вот их-то он боялся, что уже не вынесет; что делать тогда? выть и орать в полный голос, кататься по полу, биться головой обо что придется, звать пожарных, чтоб потушили, докторов, чтоб накачали чем-нибудь, усыпили? В тот раз он как бы справился, а в следующий? В первый раз тогда ему дали понять, что его мозги, его «крыша», ему не принадлежат, если кому-то вдруг станет угодно, ее, крышу, вмиг оторвет, и тогда… А может, это еще цветочки, он не знает, каков тут предел. Бездна разверзнулась перед ним, ему показали ее, а какова сама бездна? где ее дно, если оно вообще есть?

Такие состояния длились дня три-четыре, а потом как-то оказывалось, что все вроде как всегда. И он как-то забывал. А однажды продолжалось недели три. Три недели он жил в этом. И как-то раз на Балтийском вокзале он посмотрел на небо, — как будто слегка дымное, с уже успевшим почти рассеяться дымом, посмотрел на редких людей у билетных касс, на недавно подметенное пространство перед кассами. И вдруг почувствовал, что все. Миновало. В секунду он это понял. Он снял шапку. Мягкий, свежий ветер поглаживал ему лицо. На душе стало так же чисто и ясно, как сейчас на вокзале. Он стоял и дышал. Все. Пока свободен.

«Это какая-то кара. Да, кара. Я не слушаюсь, и он увеличивает дозу. Не понял? Еще увеличим. Он плющит меня».

«Но что же я должен понять? Что я делаю не так?»

Он был уверен, что выход есть. Надо только уметь его найти. Для человека всегда есть выход. Не находишь — сам виноват. Терпи, ищи.

«Но меня расплющит. У меня уже течет крыша. И что делать, непонятно».

А что дальше? Он так не спрашивал, хотя это и было самым главным, подразумевалось. И он со страхом чувствовал, что разгадка близится. Она стала гораздо ближе, чем еще недавно. Тот

ненастный осенний вечер обозначил какой-то новый этап. В этом у него не было никаких сомнений. Ничего подобного он себе не формулировал, но был уверен, что такие вещи просто так не случаются.

«Ладно, послушай, а что вообще было? Было умненькое, чистенькое детство. Вундеркиндство. Потом все это куда-то подевалось. Музыка, наркотики. Друзья. Это было самое лучшее, что было в моей жизни. Да, самое лучшее. А потом? Потом университет. И я пытался продолжать жизнь так, как раньше, чтобы то, самое лучшее, длилось и длилось. Но уже я знал, что это невозможно. Тогда было время аванса, и оно кончилось. Нужно отрабатывать. И я пытался как-то отрабатывать? Да нет… А математика? О! Я ж совсем забыл. Я все время немножко ею занимался. А потом налетело математическое охренение. Мне казалось, что это и есть отрабатывание. И насколько лучше я тогда себя чувствовал! Но ты верил, что делаешь то, что д о л ж е н делать? Что в этом о п р а в д а н и е твоей жизни? Ты верил?

«Ох… Не будем врать… Не верил… С самого начала не верил. С самого начала чувствовал глубокую фальшь всего этого. Но я же когда-то вундеркиндствовал! Это давало мне повод. Похоже, крепко сидело. Похоже, какая-то часть во мне так все это время и была уверена, что я буду заниматься математикой, а остальное – так, юношеские забавы. Но юношеские-то забавы оказались гораздо важнее. Важнее, нужнее. Они-то и были главными. Тогда это все началось. Тогда. Тогда я впервые увидел что-то. Н е ч т о . Какое-то н е ч т о . И после этого, какая, к черту, математика… Но я упорно не хотел этого замечать, хотя это было очевидно, и все цеплялся за математику, и цеплялся…»

«А зачем я это делал?»

«Отвечай!»

«Ты прятался. «Оттягивал конец», ха-ха! Откручивался, вихлялся».

«Значит, не математика. Конечно, не математика. Но что тогда? ЧТО?»

«От чего откручивался? От чего вихлялся? НЕ ЗНАЮ».

«Оно требует. Требует. Я что-то ДОЛЖЕН, ДОЛЖЕН, хоть ты сдохни!»

Было уже очень поздно, и он сидел на кухне один. Даже отец лег спать, хотя он, как правило, допоздна сидел на кухне с книгой, — ему, впрочем, и деваться было некуда, потому что они жили в двухкомнатной квартире, и одна комната была «детской». На кухне было все убрано, чисто — мать уже давно пришла с работы, она, тем более, спала. На кухонном столе — чашка с чаем, уже остывшим. Он налил себе чаю, но все не приступал. Он уже давно сидел здесь. Не хотелось идти в свою комнату. Ему почему-то казалось, что на улице становится все темнее, хотя темнее было уже некуда.

«…Долг…»

«Ответственность…»

«Право на жизнь…»

«Ответственность, долг».

«Ты должен».

«Что я должен?»

«Отдай».

«Что отдать?»

«Все, что имеешь — отдай. Сколько отдать, Ему все равно. Ты должен отдать ВСЕ. Хоть три копейки, хоть миллион. Это не важно. Главное, чтоб — ВСЕ».

Встряхнувшись, он хлебанул сразу полчашки остывшего чаю. Грубо утер губы и еще полчашки. Сейчас покурить, — и в койку.

«Но что я должен отдать?!! Что?!!»

Летнюю сессию (вторую и последнюю на третьем курсе) он сдал на тройбаны. И еще рад был, что ноги унес. Что-то сломалось в нем. Раньше же все довольно лихо сдавал? А теперь вдруг все. Как отрезало. После каждого экзамена выходил поразбитый-пораздолбаный. Бесконечная вялость, немочь на душе. И какая-то саднящая мерзопакостность. А математика? А храм? А священные имена? Ничего этого не было. Были чужие конспекты, чужие почерки, дурное нагромождение каких-то определений, теорем,

формул. Все это надо было любой ценой запихать в себя. Как жрать дерьмо на спор.

Курсовик он едва не завалил. Пришлось прибегнуть к помощи отца — слава богу, он достаточно рано это сделал. Отец доблестно потрудился. Использовал одну из его задумок, что, разумеется, отметил. В результате получилась «довольно пристойная» работа. Его научный руководитель был очень доволен и удивлен, даже обрадован, сказал, что давно не видел курсовиков «такого уровня». С энтузиазмом предложил дальнейшее сотрудничество. Он вдумчиво кивал. И вроде как в знак благодарности за похвалу, и вроде как в знак согласия на продолжение сотрудничества. Обязательно, мол. Обяз-зательно. Как все-таки хорошо, что папа у него силен в математике.

А когда с отцом работали над курсовиком, он изо всех сил выказывал повышенную рьяность в работе, даже горячность, — чтобы разговор как-нибудь нечаянно не съехал на тему: как так получилось, что две недели до сдачи курсовика — и разве что конь чуть-чуть повалялся?

Оценки за сессию: все тройбаны, по курсовику пятерка. Как мать умоляла его сдать эту сессию: с четвертого курса уже, мол, почти не выгоняют. Он сдал эту сессию.

Уфффф…! Теперь каникулы, каникулы, ура! Он не знал, что делать с ними. Пить на здоровье. Он продал почти все пленки — другую половину. Оставил парочку — их он пропить все-таки не смог. Тырить у отца книги — до этого он не дошел. Впрочем, и мать подбрасывала ему денег довольно охотно, стараясь не думать, куда они, скорее всего, будут потрачены, — он, правда, брехал, что на музыку; мать не чаяла, что он сдаст эту сессию, а теперь, если выгонят, то будет хотя бы «незаконченное высшее». И поили его довольно часто. И Друг зазывал выпить. Жена — не тетка.

«Математика, говоришь? А мог бы ты, как это говорится, муку принять за математику? Ответить мог бы? Вот в лагерь тебя посади, занимался бы ты там математикой? Добывал бы там себе неимоверными путями ручку с бумагой? Как-нибудь хитро, через охранника, например? Я сдохну, но математикой заниматься

буду, буду, буду! Нет, не ответил бы. Математика не стоит моей жизни. Так что ты лезешь тогда? Чего ты самому себе голову морочил?»

«Значит, не ответил бы. Значит, нечего и соваться. Значит, я не ученый».

«Тогда кто же я?»

«А никто».

«Как это никто?!! Как это никто?!!»

«Нет, тут надо перепроверить что-то, тут что-то неправильно. Не может такого быть. Не может. Как это, я — никто?! Я — и никто! Да вы что, смеетесь?!!»

«Ладно, спокойно. Перепроверять тут нечего. Я — не ученый. Это очевидно. Это слишком очевидно, твою мать! А насчет я никто… Ладно, хорошо. Ты лучше вспомни другое. Вспомни как следует. Успокойся, подумай, вспомни».

«Да, надо вспомнить. Я ведь что-то знал, но забыл. Это что-то очень важное. Если вспомнишь, то все поймешь. Многое, по крайней мере, поймешь».

«Я помню… Я помню, что с самого детства считал себя гением. Да, гением. Это так. Так. И еще я помню, что очень боялся смерти. Я часто о ней думал, шлялся по кладбищам. Что я гений, это с самого начала подразумевалось. Иначе и быть не могло. Почему я так думал, я не знаю. Но даже ни секунды не сомневался. Вот в этих-то двух вещах, наверно, и кроется разгадка. Вот она где, в самой глубине, в самом начале. Я не знаю, почему разгадка именно в этих двух вещах, но я уверен в этом. Здесь. Здесь».

«А я еще искал смысл жизни, умные книжки почитывал. Ничего этого мне, оказывается, было не нужно. Я чесал не там, где чешется, а там, где мог дотянуться».

«Так вот, впервые в жизни я понял, что я не гений. Математика должна была стать проявлением моей гениальности. Но она, конечно же, не стала. Как она могла стать, если мне наплевать на нее, по большому счету. А математические способности у меня всего лишь недурные. Что совершенно

естественно. Было бы странным обратное — как спрыгнуть с колокольни и в сапоги попасть».

«Кажется, Эйлер говорил, что, родись он хоть белым медведем, он и тогда бы царапал на льдинах свои уравнения. Да, продираясь сквозь свою медвежесть, он царапал бы их и царапал. И его не интересует, гений он там или не гений. То, что заложено в нем — сильнее его, он только послушный исполнитель этого. И для него это важнее любых оценок, любых похвал, важнее своего жалкого «я». Э т о — имеет абсолютную ценность. И себе он не принадлежит».

«А я вообще молодец — подавайте мне звание гения, тогда я готов заниматься математикой. Как звание Маршала Советского Союза. Математика, не математика — для меня все едино. Подавайте ему звание Маршала Советского Союза — и никаких гвоздей. Если ты действительно любишь что-то, то о званиях ты не думаешь. Тебе просто хочется делать и делать это. Ну ладно, смягчим, думаешь н е т о л ь к о о званиях. А я думал т о л ь к о о званиях. Кстати, до чего, говоришь, ты не мог дотянуться? Нет, ты не не мог дотянуться, ты не хотел дотягиваться. От чего ты все время пытался отвертеться, — так это от осознания того факта, что ты не гений. Факт этот очевиден, но до того неприятен, что ты предпочел искать смысл жизни, Бога, философствовать, короче, ломать комедию, вместо того, чтобы честно себе в этом признаться. Что было? Да все очень просто: с одной стороны какой-то дурацкий бзик с самого детства — ничего, кроме него, с другой — теория вероятностей. Ясно же, какая сторона сильнее. Не просто сильнее, а… Несоизмеримо сильнее, несопоставимо сильнее. Это тривиальное рассужденьице оказалось для меня, у м н о г о, почти не по силам».

«Хотя все время, все эти три года, ты чувствовал, что лжешь. То-то так тебе и было хреново — ты все время чувствовал, что лгал. На самом деле, на самом деле — ты ни на секунду не забывал об этой лжи. И она отравляла твои дни».

«Н-да, любопытно… Что-то у тебя посеяно в мозгах, что, ты даже и не знаешь, и дремлет, вызревает. А ты ходишь, живешь, ни

о чем не думаешь, а оно вдруг дозрело. Бам-м-м-м! И все, жить ты уже не можешь».

«Да, я жить не могу. И не хочу. Не гением я себе не нужен».

«Ты раб и трус и мне не сын».

«Да, был человек и нет человека. Как забавно, что ничего для этого не нужно. Никаких ядов, пистолетов. Крохотный вирусик в мозгах — и все. Дальше он отлично справится. Я был, оказывается, с самого рождения приговорен. И не знал этого».

Непонятно, куда девать этот огрызок лета. Август, звездное небо, падающие звезды. Так, наверно, оно бы и было, если бы не это небо, которое наглухо заволокло тучами.

Четвертый курс, первое сентября. Солнце золотило верхушки деревьев. Он вышел один на дорогу и пошел к университету…

Собственно, ему ничего не оставалось, как попробовать писать прозу. Потому что для музыканта надо уметь на чем-то играть, знать всякие диезы-бемоли, для художника надо уметь рисовать, мазать краской по холсту, а для писателя надо уметь — писать. Этому учат в общеобразовательной школе.

Взялся за перо он не то что зевая, а… Заранее чувствуя, что все это хрень. Последняя соломинка, которую, в свою очередь, никто не держит.

Так, и о чем же будем писать? Ч т о писать? Он задумался. О том, как он слонялся по университету, подпирая собой академические стены? И что тут напишешь? Или как влюбился с первого взгляда в одну абитуриенточку, с которой стоял в огромной, в несколько этажей, очереди, уже после поступления — значит, уже студенточку; куда-то нужно было стоять, уже не вспомнишь, да и не важно. Часа три, а то и четыре они стояли, а потом подошла ее очередь, а вскоре его. Про это писать? Да брось ты. У каждого такого — мешки. Да и какая это была любовь? Так, что-то этакое… Ах-х-х…! Хочешь это раздувать, так пожалуйста, а меня избавь от таких, ммать, комедий! В общем, несолидно, вот и все. Да, но это же не главное. Главное было раньше.

Писать, как аж до одурения слушали музыку, курили траву, глушили портвягу? Вообще, строго говоря, это и было самым

главным. Ранний «Пинк Флойд», Джим Моррисон… Ну да, это и было главным в его жизни. Лучшим, по крайней мере, и важным. Вот про это, про самое важное, про самое главное, и надо писать.

Он даже попытался сплести рассказец. Проковырялся дня три. Написал две страницы. Что-то такое: некто сидит дома, к нему заходит друг, и они идут куда-то вместе курить траву и слушать необыкновенную музыку. Фраза плохо слушалась его, он с трудом приводил ее в божеский вид и двигался дальше. Тяжелое и нудное занятие. Сюжет надо какой-то придумать? И какой же тут может быть сюжет? Он-то знал, что имеет в виду, и не надо было никакого сюжета, все и так было там. Но он смотрел на бумагу и видел, что это что угодно, но только не то, что он хотел написать. Тогда было главным о щ у щ е н и е . Какое-то дивное о щ у щ е н и е . Не то ожидание чего-то, не то, наоборот, отсутствия всякого ожидания, а упоение текущим. Да нет, какое-то ожидание всегда есть… Оно и окрашивает… Но не важно, главное о щ у щ е н и е , о щ у щ е н и е ! Вот, что он хотел бы запечатлеть! Вот то единственное, что стоило запечатления! А тут… Ушел, пришел… Можно и дальше продолжать в том же духе. Какая-то дурацкая опись событий, морд. Идиотский прейскурант.

А как же Толстой, Достоевский, Чехов? Что он запомнил у них? Ничего. То есть запомнил, конечно, — о щ у щ е н и е . Так, а в чем сюжет «Преступления и наказания»? Не помню, хоть убей. Убил старуху, признался, пошел на каторгу, дали ему восемь лет. Но там же была еще куча всего! Не помню — труха какая-то. Но ощущение… А как Раскольников идет по улице, в горячке, в бреду? Это помню. Ох, помню. Но как такое написать?! Чехов. Ничего — только ч е х о в о с т ь .

Общее ощущение, общий з в у к — вот и все. Все остальное — лишнее. Лица, поступки, события.

Да и этих-то, всяких там писателей, интересовали другие люди. А его? Только он сам. Свои ощущения. Или даже свое о щ у щ е н и е . Да. Вот это точнее. Ничего другого он просто не знает. И это свое ощущение он не может никому передать.

«Да и че там передавать-то? Портвягу глушили? Весьма

экзотическое занятие. Музыку слушали? Кто ее не слушал… Трава? Ну, тогда это было еще в диковинку, а сейчас, сам знаешь, крепнет и ширится. Скоро и этим никого не удивишь. Да и вообще это ерунда — перед гимназистками разве хвастаться».

«А как же закат, который я видел из поезда, когда…»

«Не нужно».

«А как же…»

«Не нужно».

«Так что, все, чем я жил, так никому и не пригодится?! Это что, все зря было?! Пусть выкидывают, как рыбьи потроха?!!»

«И так вас много. Надоели, сука, уже. И ты еще суешься».

«Так что, я получаюсь в ПОШЛЕЙШЕЙ роли?! Любой фраер, который думает, что он единственный на этом свете?! Любая его царапина, любой его писк, чих… Н-е-е-е-т!!! На ПОШЛЕЙШУЮ роль я НЕ СОГЛАСЕН!!!»

Недели через две он, правда, еще попытался передать о щ у щ е н и е. Тот рассказик он бросил, стал писать другой. В центре — все то же, но по-другому. Какие-то многозначительные обрывки фраз. Некоторые фразы и вовсе непонятны. Что-то такое должно там было просвечивать, угадываться. Но перечитал — плохо. Плохо. Подростково-велеречивая заумь, просто какая-то муть. Собственно, и все. О щ у щ е н и е там так же отсутствовало, как и в первом рассказе. Оно было как будто заключено в центре стального шара, и он царапал и царапал по этому шару, но к центру не приближался ни на миллиметр. И сам рассказ производил впечатление даже большей беспомощности, чем первый: вероятно, потому что здесь угадывалась какая-то претензия, что, хотя бы, в первом рассказе отсутствовало.

Не получается. Как, у меня — и не получается?! Да, у т е б я — и не получается. А раньше думал, что все могу, стоит только захотеть… Что ж, теперь ты так думать не будешь.

Возможно, провозись он подольше, он стал бы и по литературе получать четверки. Может, и пятерки. Но ему не были нужны ни четверки, ни пятерки.

«Познай самого себя. Вот и познал. Фраер узнал, что он

фраер».

«Люди!» — вдруг страстно воззвал он про себя и расхохотался.

«Пусть моя горькая судьба послужит вам…!»

Все. Вот и развязка. Которой он так боялся и которую он так, тем не менее, ждал. Вот что поджидало, ждало его.

И вдруг такое гигантское облегчение нахлынуло на него. Или: такое гигантское напряжение вдруг отхлынуло от него. Какой-то восторг, до сих пор незнакомый ему. Ведь теперь он свободен. Да, свободен. Не надо больше ничего думать, перемалывать, догадываться, бояться. Он свободен.

Он встал и подошел к окну. Все значение мига он осознавал. На душе было спокойно и почти хорошо. Хотелось вздыхать и вздыхать. Только легкая горечь. Что так оно все оказалось. Что тут скажешь?

«Как глупо…»

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Его с чего-то занесло в кино. С утра он был пьян, потом протрезвел; домой ехать не хотелось, и он увидел на афише фильм по мотивам Грина. Чтобы не торчать на морозе, он решил посидеть пару часов в кино. До кинотеатра проехал на автобусе остановки три, сидел, и всю дорогу клонило в сон. Перед фильмом, как всегда, оказался журнал. Он сидел, навалившись подбородком на спинку свободного кресла впереди, и то прикрывал глаза, то поглядывал на экран.

А там ездили БМП, по-военному спрыгивали люди в камуфляже. Что происходило и где, он не понял. В какой-то тропической косорылой стране. Все время стреляют, бегают, повсюду раскиданы трупы. Прожектора, прожектора, огромная банановая трава то и дело попадает в прожектор, встает под ним в свой огромный рост, добавляя ирреальности, жути. Горящий жирным дымом, уже почти сгоревший труп. Кадры, планы менялись быстро, но все равно, все одно и то же — шум, грохот, крик, суета, беготня, стрельба. Он

не понимал, что происходит. Но глаз уже не прикрывал, смотрел из-под тяжелых век, отчетливейшим образом все видя и замечая. Постепенно в него начало проникать чувство кошмара; полусон его удесятерял и даже вообще делал возможным проникновение. Они все пронзительно мяукали там на экране, перемяукивались, скалились, дико перекашивали друг на друга свои косорылые рожи. Перевода то ли не было, то ли он шел как-то мимо него. Трупы, бананы. Должно быть, ночная влажная духота. Он смотрел на все это из темноты. Какая-то площадь, камуфляжи истребляют каких-то дико, отчаянно визжащих, ни в чем не повинных баб. Он понял, что у них цель истребить их всех до единой. Зачем это им было нужно, он не понял. Стреляли даже как-то мало, все больше раздавливали горло прикладами, потом откуда-то сбрасывали. Повсюду горели костры. Один камуфляж прижал одну к каким-то перилам, и передавливает ей горло своим автоматом, она пихает его своими ручонками в грудь, он давит ей на горло, дается ему не сразу, вся эта борьба длится нескончаемо долго, он медленно, но верно побеждает, она верещит без малейшей передышки, она тоже видит, что он побеждает, она все еще цепляется за свою жизненку, безобразно перекошенный рот, углы рта донельзя, слюняво оттянуты вниз, наконец она уже хрипит, потом роняет голову, затихает, постепенно приобретая человеческий облик. Камуфляж даже не отодрал эту суку, просто раздавил. Нескончаемый сучий стоголосый вой продолжался.

Потом было кино. Он сидел онемевший, омертвевший, умерший внутри; держал голову то на спинке кресла впереди, то на подбородке. Он мало что понимал. Мозги как-то разъехались, фокус мыслей потерялся. Иногда он смотрел в экран, слушал, что говорят. Какое-то мелькание на экране. Какие-то голоса из динамиков.

Домой он ехал почти в пустом автобусе, но не садился. Как будто какой-то штырь был вогнан в него. Он стоял, опершись спиной на стержень в корме автобуса. Осквернение, поругание, которое только что свершилось перед ним, заполнило собой все, он ничего не чувствовал кроме него, свершившегося. Но он глухо раздражался, когда спина соскальзывала со стержня, приходилось

ловить его рукой, возвращать себя назад. Так он все время и соскальзывал. Что-то подергивалось, посверкивало в голове. Ночная духота, банановая трава, камуфляжники, спрыгивающие с БМП, Ассоль-фасоль, юнги, гордо всходящие на нос корабля, как будто готовясь протрубить в рог, паруса, паруса, волны, ванты, раздавленная неотодранная сука.

Но еще он знал, что едет д р о ч и т ь . Он много сегодня накопил, было, что выплеснуть. Дома он долго сидел на очке, прежде чем приняться. Долго массировал, выгибал хер. Было не сосредоточиться. Визжащие, истребляемые макаки прыгали-плясали перед ним. Он дрочил, дрочил на них. Наконец он особенно явственно увидел ту суку, раздавливаемую автоматом, ее дикий визг, ее полные безумия, отчаяния глаза — рывок; он кончил ей в лицо. Все руки в малофье, пол, штаны. Сидел отмякая, отмокая.

…Как-то раз ему довелось смотреть порнуху на видике, и он видел такое зрелище: раздвинутая мандища во весь экран, а этот тромбует в нее и тромбует. И так часа полтора. Какую-то отчетливо строительную ассоциацию вызвало это в нем, какое-то забивание свай. Тот, с кем он был, сказал, что похоже, как будто кто-то на гармошке играет. Он присмотрелся: точно; гораздо тоньше подмечено, хотя звучит и не столь убедительно: энергию траха не передает. Потом они вышли в тихий вечерний парк. Было уже почти темно. Долго шли по нему. Народу было мало, и те кто был, все сидели. Из идущих были только они вдвоем. А он думал:

«Порнофильмы с садизмом они делают не так. Просто скучно. Видно же, что это понарошку. Я бы сделал так: взял бы какого-нибудь офицера победившей армии, даму средних лет, чинную матрону, хранительницу домашнего очага, поставил бы ее раком и показал бы, как офицер не торопясь ее дрючит. Не торопясь, со вкусом. А та покорно, молча, стоит раком, белая жопа из двух булок; ждет, когда ее отдрючат. Молча, спокойно, тоже не торопясь. Он же победитель. По-моему, было бы лучше. Все как в жизни. Не надо визга, пусть стоит и молча, тупо ждет. Впрочем, можно и с визгом, и со слезами. Но это уже на более грубый вкус».

«Если бы не было слез, визга, страха, не было бы и садистов. Они ими вдохновляются. Они вдохновляются унижением. Сделал ты, скажем, человеку ножевой разрез. А он хоть бы что. Не орет, не умоляет. Тогда что в этом интересного? Ни капельки не интересно».

«А как тот старик в больнице рассказывал, как у него жена умерла. Орала перед самой-самой смертью: «Я не хочу умирать!!!» Чуть ли не из сортира, или с порога сортира. У нее давно было больное сердце, знала, про что орала. Вызвали неотложку. Ну, помереть-то она все равно померла, но еще и поорать-повизжать успела. А этот дурак рассказывает, даже не понимает…»

«Смерти мало убить. Ей надо еще растоптать, унизить, о п у с т и т ь . Понаслаждаться, посмаковать. А уж только потом…»

«Неужели и я буду так визжать? А что? Почему бы и нет? Ты храбрец еще тот. Самурай, блин. Слушай, Бог, или кто там, в общем, начальник, избавь ты меня хотя бы от этого. Хотя бы напоследок».

…Ему снова десять лет, и он только что вышел с папой из кино. Там только что кончился фильм про войну, только не «с приключениями» - он намекал на то, как было на самом деле, в нем было много документальных кадров. Он вышел, потрясенный. «Папа, а почему бывают войны?» – спросил он у папы. У него в голове не вмещалось, как такое может быть: он сидит в битком набитом зале, среди людей, и все они видят эти города из развалин, окопные трупы, все это черно-белое, линялое, настоящее, они видят это и наверняка все как один чувствуют то же, что и он: бессмысленный, садистский кошмар; но – кто это устроил, то, на экране, – разве не люди? Разве не такие же самые люди? И как же тогда такое может быть? И он спрашивал об этом у отца, с какой-то даже мольбой, – раз он этого не понимает, так может есть хоть кто-то, кто это понимает, а от отца ведь никогда не уйдешь с пустыми руками? Отец отвечал. Его ответы были умными и поэтому не утешали. Раз не утешали – значит наоборот. «Ладно, брат, – сказал отец, не то вздыхая, не то крякая, приобнимая его за плечо, – посмотри лучше, какой вечер». Он посмотрел. Был чудный

вечер. Было еще светло, еще вовсю держался закат. Чудный, легкий ветерок, легкая прохлада после дневной жары. Костел, озеро, такое прекрасное, при таком закате, при такой прохладе. Неторопливые прогуливающиеся, неторопливые разговоры. Жизнь. Так было и так будет всегда. Он оглянулся на кинотеатр, где только что закончился этот фильм. Кинотеатр как кинотеатр. Немного заката досталось и ему. Потом он перевел взгляд на озеро, на о т д ы х а ю щ и х . Как это объединить, совместить?! Никак.

Сырая тоска, душа сырая от непрекращающей понемногу сочиться из нее сукровицы. Сырые дни. Мрак уже давно стал мягким, вкрадчивым, нежным, страшным. Теперь он только таким и был. И фонари уже давно смотрели ласково, томно, жутко. Только так они и смотрели.

Первая за день папироса, мозги за ночь успевают отвыкнуть от никотина, и он стоит, облокотившись локтем на мусоропроводную трубу, у него кружится голова, он смотрит вниз, голова тяжелая, и тело медленно наливается тяжелым, и он как будто плавает в каком-то безбрежном слякотном океане, и океан этот — его жизнь. Он в школе на перемене, медленно идет по коридору среди беготни и галдежа, он в школе, поднимается по лестнице и видит зеленую кофту исторички, он возвращается с электрички белой ночью или ноябрьским вечером, он стоит в темно освещенном парадняке и курит план, он разглядывает заметку «Гипотеза Римана», он сидит на экзамене и сдирает с конспекта, видит краем глаза коричневый костюм преподавателя, журнал, который тот читает, он летней ночью на гороховом поле, он слоняется по университету, и рот изнутри шершавый от беломора, он и Друг в кустах акации, и Друг делает свистульку, пробуя, не разучился ли, он прыгает под музыку с нарастающим восторгом, прибавляя громкости, он лежит на кровати, слушая, не идет ли лифт, может, зайдет кто-нибудь, он бродит по кварталу и высматривает, есть ли свет в знакомых окнах, и ветер продувает его насквозь, он ставит стопарь на стол, сдирает ногтем пробку с бутылки и наливает первую, он читает Толстого на ступеньках платформы для электричек. Все это

выныривает, показывается на один миг, чтобы тут же пропасть в слякотной массе, и тут же выныривает еще что-то, чтобы сразу же тоже пропасть. Он тонул, захлебывался в этой массе, голова кружилась, он делал паузу в курении, давая себе передышку, потом постепенно, затяжку за затяжкой, заканчивал беломорину. С самого утра, только встав, он знал, что это ощущение ему предстоит. Чтобы поскорее его миновать, он стал курить натощак, сразу, как только одевался.

Он был свободен.

Свободен.

«А они находят себе занятия. Работают, едят, спят, убивают старух, бросаются под поезд, пишут многотомники, маются дурью. А кто похлипче, посебяединственноголюбее, «приходят к Богу». Потому что не хотят признаться, что не могут ни достойно жить, ни достойно помереть, — так же как и я».

«Жертва пошлейшей комедии. Быть в пошлейшей роли я не согласен. Тогда самоубийство. Но у меня не хватит духу. А, скажем, травиться — фифти-фифти — не хочу людей смешить. То, что произошло со мной, происходило тысячи раз. Пошлейшая роль. Бывшему вундеркинду никак не отвыкнуть от того, что он гений».

«И не расскажешь, главное, никому… Хоть бы ногу оторвало, или из близких помер кто… Тогда понятно. А так… Трагедия, тоже мне, мать твою! Фраер узнал, что он фраер».

«Если ты не Джим Моррисон, так сдохни хотя бы как он! И этого ты не можешь».

Он в чужой квартире, в чужой ванной комнате. Там он впервые увидел опасную бритву. Очень острая. Раз-раз — андреевский флаг на морде. Раз, раз, раз, раз, раз! Морда в мелкую сетку. Хорошо.

Хорошо, хорошо, еще лучше. Исполосовать себя в мелкую капусту, все у себя, что подвернется. Посмотри на свою поганую рожу! Ты видишь ее в последний раз. Братуха.

Пить он стал теперь реже. Только когда становилось полегче, какие-то просветы все же бывали. Он подержал бритву в руках и положил на место. И подумал, что хорошо, что у него дома такой нет. А то, во время какой-нибудь пьянки, раздухарившись, он мог бы что-нибудь сделать с собой с ее помощью. Что-нибудь приятное. Манила как-то она его.

Самоубийство — даже этого для него было мало, пусть даже он его и боялся. Самоубийство — это как-то дешево, коротко. Дешево отделался. Замучить, растерзать себя — вот что влекло его, как далекий, очищающий душу огонь. Идти на этот огонь, истекая кровью, хрипя, ничего не чувствуя от боли, от шока, оглушенным, ослепленным, идти на него, чувствуя, как душу захлестывает и захлестывает небывалый, неземной восторг, чувствуя, как задыхаешься от этого восторга, уже не можешь вынести его, все накатывающего и накатывающего.

«Я болен. Да, я болен. Я очень, очень болен» — он постоянно говорил, твердил это про себя. Иногда даже шевелил губами при этом. Констатировал и констатировал то, что было неоспоримо.

На военной кафедре с ним приключилась истерика. В тот раз он был «дневальным». Майор объяснял ему, что надо сейчас делать, и он вдруг рассмеялся ему в лицо. Майор оторопел от такой наглости, попытался было поставить его на место, но как-то вдруг понял, что тут что-то не так, и, не обращая внимания на неприличный смех, продолжал объяснять. Он с утроенным усердием кивал, чтобы майор понял, что это он ей-богу не нарочно, но смех свободно лился и лился из него, и он был тут совершенно бессилен. Смеясь, отправился выполнять поручение. Майор некоторое время смотрел ему вслед. Потом покачал головой.

Все шло по-прежнему. Он учился на четвертом курсе, ходил в университет. Родители ничего не замечали. Иногда он, правда, устраивал небольшие, кратковременные скандальчики, с оттенком какой-то новой для него слезливости, из-за любой бытовой ерунды. Но и раньше у него был характер «не из легких». А он потом раскаивался, корил себя. И даже удивлялся: с чего это он вдруг?

У него стали побаливать уши. Если их продувало, болели сильнее. И какая-то гадость завелась в них, какая-то жирноватая субстанция, с резким, противным, каким-то прогорклым запахом. Его почему-то все тянуло ногтями добывать ее из ушей и принюхиваться, ощущать мерзостность. Вошло в привычку. Мог заниматься этим и на людях. Как-то он их стал плохо замечать. Впрочем, спохватывался; уже, правда, успев вкусить мерзостности.

Как ты похудел! изумлялась приехавшая тетушка. Совсем худой стал! И мать тоже вздыхала. Все из родни замечали, что он похудел.

А его бесили эти напоминания. Потому что это были напоминания, лишние напоминания о том, что с ним происходит.

«Я не гений, вы говорите?!! Да вы…! Хорошо, а если бы изобрели такой прибор: подключить вас к нему, и теперь вы — я. И оставить вас так, да хотя бы на сутки. Да от вас бы кучка пепла осталась! Что такое быть мной, вы, мать вашу, не знаете! Вы бы хоть день прожили м н о й!»

«У художника есть этот самый… холст, у музыканта — пианино или чего там, а у моего гения — ни-хе-ра. И ничего не поделаешь. И никакого такого прибора нет».

«Забавно: скажем, Бетховен — ведь это же душа Бетховена. А ему нужны годы учения, всякая музыкальная грамота, инструменты. Вся эта тряхомудия. И только тогда мы все постигаем — да, это — Бетховен. А если бы он родился среди чукчей?»

«А если бы он был глухим от рожденья?»

«От этого он бы не перестал быть Бетховеном. Но никто бы

никогда об этом не узнал».

«А если и не глухой, просто в каких-нибудь нейронах что-то чуть-чуть сдвинуто, чуть-чуть-чуть повернуто. И если бы обратно повернуть — совсем чуть-чуть, — то все в порядке — ты музыкант, художник, писатель. Но никто не повернул. И некому. И теперь ты п о ч т и музыкант. Теперь ты п о ч т и художник. Но п о ч т и — не считается. П о ч т и — не видно. Если это где-то и видно, так это в каких-то нейронных джунглях. И то — самому всевышнему».

«У моего гения нет рук. О б р а т н а я с в я з ь отсутствует. Внутрь — есть, наружу — нет».

«И дело тут не в моем чудовищном, патологическом тщеславии, как я раньше думал. Суррогат бессмертия? И об этом думал — нет! И бывший вундеркинд ни при чем. И не фраеру указали на то, что он фраер. А гений понял, что он безрукий, безногий и немой. И гений этого гения погребен в нем заживо. Навсегда».

«Про какой гений я говорю? Я не знаю. Я только чувствую ЭТО в себе. Какой-то огонь, какое-то пламя. Пожирающее. Раздирающее меня».

«Но вы требуете доказательств. И вы совершенно правы, что их требуете. Что ж, у меня их нет».

«Но я чувствую, чувствую этот огонь, раздирающий меня!! Терзающий меня!! Что мне делать с ним?!!»

«Что тут можно сказать?!! Кому это можно объяснить?!! ЧТО мне с ним делать?!!»

«Ну ей-богу, гений я братцы, я ничего не могу с этим поделать!»

Февраль все не кончался.

«Ладно, остынь. У тебя-то для себя самого есть доказательства, что ты гений? Сам-то ты веришь в это?»

«Я? Да нет… Конечно нет! И для себя самого у меня нет доказательств. Но иногда я просто уверен в этом. С самого детства. И я чувствую, что меня это не покинет. Я могу на время

про это забыть, но рано или поздно оно всплывет. И когда всплывет, мне не нужны будут доказательства. Мне будет просто неинтересно. Есть доказательства, нет доказательств, мне это будет просто неинтересно, и все; я и без всяких доказательств буду знать, что я гений. Просто знать и все».

«Наверно, дело все же в другом. Это же самое испытывают очень многие. Дело вот в чем: ты очень ценишь уникальность, неповторимость твоего «я». Теперь ты убедился, что это не так. Но не хочешь с этим примириться. А за гений ты просто принял чувство собственного «я». Я иду, Я вижу, Я слышу, Я думаю, Я чувствую. Как же — Я! Для таких, как ты — это все! Видел ты, говоришь, что-то, что-то самое главное? Да ни хрена ты не видел».

«Что ж, это бывает. Не только с тобой одним. Но примириться придется. Как тысячам и миллионам людей, которые живут сейчас вместе с тобой и которые жили до тебя».

«Не знаю, как другие. Не знаю».

«НО Я С ЭТИМ НИКОГДА НЕ СМИРЮСЬ!»

«Ну, вот-вот. Так бы сразу и говорил. Не смирюсь — и точка. И нечего сюда еще примешивать какой-то гений. Он здесь ни при чем».

«Какой гений, какой огонь — брось, слушай. Это громкие слова, сотрясание воздуха. Пока ты что-то не сделал для других людей — все эти разговоры насчет гения — ерунда. Только сделав что-то для других, ты можешь доказать наличие у себя гения. Впрочем, можешь утешаться тем, что, пока ты ничего не сделал, и опровергнуть наличие у тебя гения тоже нельзя. Можешь утешаться этим, если тебя это утешает. А так, такие разговоры — бессмысленны. Бессмысленны, слышишь? Бессмысленна даже сама постановка вопроса. Что действительно есть, так это то, что ты, непонятно с чего, считаешь свои переживания очень ценными. Но они ценны только для тебя. Тем, что они — т в о и ».

«Но я чувствую, что они и ДЛЯ ДРУГИХ ценны, вот в чем дело! Я чувствую это!»

«А почему ты так думаешь?»

«Я не думаю, я чувствую!»

«Хорошо, почему ты так чувствуешь?»

«Не знаю… Чувствую…»

«Любой дурак так может сказать».

«Знаю, что любой дурак! Знаю, что никто не обязан мне верить! Но я чувствую и все! Что я могу с этим поделать?!»

«Психотик».

«И еще: мне наплевать на уникальность моего «я». Любое «я» неповторимо. Но мое «я» — ценно, ЦЕННО — понимаешь?! ЦЕННО ДЛЯ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ. Как ценно «я» Толстого, Достоевского или там, Бетховена. Не их случайное ремесло, а САМИ они. Их ДУША, черт побери! Их какое-то внутреннее, самое главное. Оно никому неведомо, но оно-то и есть самое главное».

Он вошел в вагон метро, в своей шапке с опущенными ушами — чтоб уши не мерзли, хотя давно уже температура была повыше нуля, было слякотно, все капало; в потрепанной куртке, в стоптанных башмаках. Мать давно упрашивала его купить новые, но ему лень было ехать, мерить, и он все откладывал, все обещал. С ним вместе вошел некто, с палкой, в шапке еще более дурацкой, чем у него — ей было, такое чувство, лет тридцать, как из документальных съемок. Он остался стоять у входа, а тот, в шапке, еще продолжал идти, опираясь на свою палку. Потом вдруг: «Сесть. Дайте мне сесть», очень громко и очень безапелляционно. Недоуменный ропот, общее оглядывание в сторону этого голоса. «Сесть мне дайте, говорю!!!» Не так, чтобы замахнулся, но резко оторвал палку от пола. Он видел его со спины. Еще немного, и тот уже сидел, кто-то таки уступил ему место. Две девицы, оказавшиеся с ним рядом, мигом упорхнули. Все поняли, что имеют дело с сумасшедшим. «Надоели!!» — вдруг опять выкрикнул он, уже сидящий. И еще раз: «Надоели!!!» — с каким-то уже последним остервенением и яростно грохнул палкой о пол. Все молчали. Ехали дальше. Сумасшедший тоже молчал. Он мельком взглянул на него. Бескровное лицо с синеватым оттенком, какое-то костяное, широко раскрытые глаза, как будто бы все время горящие, только сейчас

они были, наверно, ненадолго притушены. Сумасшедший смотрел в одну точку, его палка покоилась. Он вдруг подошел и сел рядом с сумасшедшим, после девиц рядом с ним никто не садился. Он ехал рядом с ним, ковыряясь в своих смердящих ушах, и чувствовал какую-то горькую приятность. Что-то вроде солидарности испытывал он с тем, с его осатанелостью, она даже как будто передалась ему. И никто с этим сумасшедшим рядом не сел, а он вот сел.

Он вышел из вагона и пошел по направлению к эскалатору. Идти было долго. Он шел и незаметно для себя победоносно чеканил шаг. Он видел себя со стороны, видел, какой он весь потрепанный, обшарпанный, с нелепо висящими ушами. И ему это нравилось. Вдруг, обдав чувством победы, торжества, триумфа, вспыхнули строчки: «Смотрите ж, как он наг и беден, как презирают все его!» А про кого это было сказано? То-то! Он шел и шел навстречу эскалатору.

«А как, интересно, выглядел Джаггернаут? Броситься под него, заорать не своим голосом, теряя рассудок, ощутить напоследок, как хрустнул у тебя позвоночник, как давятся, лопаются у тебя потроха. Красивое имя. Прекрасная смерть».

«Герцог без угодий. Разве это смешно? Зачем ему угодья? Он и так — герцог».

…над лесом взошла медная луна и протрубила его героическую смерть…

Его вдруг выдернуло из дома, и он поехал в город. Лишь бы двигаться, куда-то поехать, лишь бы не сидеть на одном месте. Сделать хоть что-нибудь. Он не знал, что будет делать в городе, тем более, что и когда он выезжал, уже был вечер. Уже на вокзале вдруг решил, что поедет в филармонию. Классики он не слышал уже неизвестно сколько лет. Филармония была открыта. У кассы человека два; он взял билет. Прошел сразу на свое место, сидел, ждал, пока начнется, читал программку. Симфония старого

классика, правда, еще не очень самостоятельная, незрелая, юношески-подражательная или как-то так. Следующая симфония, мол, уже так-сяк, а эта — совсем еще барахло. Немножко недотянул, ну да Бог с ним, ему было неважно. Симфония ему понравилась. Было старинно, благозвучно; он отдыхал, в пол уха слушая. В антракте он решил пройтись. Он шел, брел; шел по проходу зала, бродил по тому месту, где висели портреты композиторов. Везде толпа. Он сидел в курилке, ронял пепел на пол. Потом вернулся опять в зал. Смотрел на опустевшие места. На многих остались лежать программки. Народ в зале сильно прорежен. Стало посвободнее. Он стоял и смотрел на красные сиденья. Глянул вдруг вверх. Люстрищи горят так вдруг ярко. Да ну их всех на хрен! Валить отсюда, немедленно. Немедленно! Но он зачем-то еще поднялся на галерку, шел по ней, смотрел на ту, другую галерку, через зал, видел там редких людей.

Потом он нетерпеливо ждал, когда гардеробщица принесет ему его шмотье. Потом вышел на долгожданный свежий воздух.

Он вышел из магазина «Старая книга», где только что купил книгу по математике. Называлась она «Псевдодифференциальные операторы» в каких-то там пространствах. Зачем она ему?? Он же все равно в ней ничего не поймет, она же для специалистов в своей области, да и читать он ее не будет, — разве что предисловие, а остальное только проглядит, ничего не понимая, а потом поставит на полку. Спохватился… Поздно, поздно. Но он все равно покупал и покупал книги по математике. Он сознавал всю нелепость, смехотворность, даже патологизм этого. Но ничего не мог с собой поделать. Специально выезжал в город, чтобы войти в «Старую книгу». Подходя к ней, уже весь волновался, как перед свиданием. А там, в магазине, дорывался до полок и выбирал, выбирал. Он все хотел вернуться туда, куда вернуться было уже невозможно, хотел взглянуть хоть одним глазком на свое несостоявшееся прошлое, прикоснуться к той чистой и светлой судьбе, которую он сам от себя оттолкнул. Хотел почувствовать себя так, как чувствовал себя когда-то, когда все это еще вполне

могло сбыться. И как еще недавно это было! Но время летит быстро. И когда выбирал книги, что-то вроде помрачения на него находило, он чувствовал, как будто и вправду все как тогда, все еще впереди. Он забывал, что поздно, что невозможно, и что-то вроде прежнего математического экстаза вспыхивало в нем. С восторгом он выбирал какую-нибудь книгу — какие они все разные и прекрасные! шел к кассе, запихивал как попало, лишь бы быстрее, книгу в сумку, выходил на улицу. Но уже по пути вспоминал, что все это чушь, бред, дурь! Он пробуждался от этого сладкого, вязкого, тяжелого дурмана и вспоминал, как все обстоит на самом деле. Дурман прошлого, никак не очнуться от него, он норовит засосать назад к себе, и всякий раз пробуждение мучительно.

У него скопилась целая куча таким образом купленных книг. А если их случайно найдут родители? Что он скажет? Будет что-то мямлить, чувствовать себя идиотом.

Он стоял у магазина и курил. Он чувствовал себя разбитым, обессиленным после недавнего возбуждения. Похмелье. Ему было стыдно. Стыдно даже не замечавших его прохожих. Он как будто боялся, что и они все знают про него.

Не докурив до половины, он заспешил прочь от этого места.

Он сел за стол и написал:

WELCOME TO MY NIGHTMARE

Он долго смотрел на эти слова, потом закрыл глаза, сидел так. Какие-то неясные, метущиеся тени былого он видел перед собой. Это все было давно…

Он все еще сидел за столом. Потом вдруг почувствовал, что надо еще, и он все так же крупно вывел:

WELCOME TO MY BREAKDOWN

Опять сидел, свесив голову, закрыв глаза. Стало почему-то легче. Какое-то непонятное, мрачное торжество…

В этот вечер мрак был особенно непроглядным, и вместе с тем как будто медленно шевелящимся где-то в своей глубине, и

придвигающимся, медленно, нежно, страшно наползающим. Особенно нежно, особенно страшно. Родителей почему-то не было. Он смотрел на пленку на магнитофоне. Но не нужна она ему была сейчас, неспособна ничем помочь. Более чем не нужна. Где-то неподалеку, в соседних домах, какими-то тенями медленно плавали его когда-то знакомые, его когда-то друзья. В комнатах, на кухнях, в ванных; кто-то еще шатался по улице, в темноте. Это были тени, отголоски. Они были не нужны, ни при чем. А мрак придвигался все нежнее, все жутче.

И он сел на автобус и поехал в поликлинику. Было уже довольно поздно, но, может быть, еще принимает врач. По крайней мере, он узнает, когда у него приемные часы. Ему нужен был психиатр. Это он знал давно.

В поликлинике, издалека светящей огнями, он спокойно спросил, принимает ли психиатр, совершенно спокойно, буднично, как про ухогорлоноса. Он был очень спокоен. Психиатр принимал, и ему объяснили, как пройти к нему. Он располагался в отдельном флигельке в глубине больничного двора. Здесь была еще и больница. Он пошел в глубину двора искать флигель. Быстро стало темно. Огни поликлиники быстро стали далекими. Грязь под ногами успела опять подмерзнуть, подернуться легкой корочкой, она упруго проседала, подавалась под ногами. Здесь, кажется, живого места не было, одна грязь. Перехожено, перетоптано. Кажется, где-то неподалеку, в этих местах, была больница, в которой он когда-то лежал с миокардитом. Сейчас в темноте ее не узнать. Может, она и не совсем здесь. Забыл. А еще где-то тут выдают гробы. Или раньше выдавали. Да, он помнит, как зимой смотрел из окна больницы. Толстые тетки в черных платках почти неподвижно ждали, когда п о д а д у т гроб. «Ранним морозным утром…» Тетки пускали пар, он был очень явственен, и его было очень много от каждой. Он лежал тогда с пневмонией. Еще тут несколько явно новых зданий. Некоторые совсем потухшие, некоторые дают немного слабого света откуда-то сверху. Где же флигель? В темноте он не мог понять, большой этот двор или маленький. Он попытался сосредоточиться, прикинуть, как примерно выглядит планировка

двора, понимая, что это очень просто, он же ее примерно представляет. Но было никак не сосредоточиться, не прикинуть. Как будто в заколдованное место он попал. Он остановился. Впереди было совсем темно, только еще дальше было много огней, но это уже огни домов на улице, за двором. Какая-то темная фигура вроде движется, он уловил ее. Более или менее навстречу ему, правда, кажется, уходит куда-то в сторону. Он пошел ей наперерез и спросил, где тут принимает психиатр. Фигура молча указала ему назад. Он посмотрел; действительно, вроде, флигель, очертания его становились все явственнее под его взглядом, и он обнаружил даже тусклый свет в окошке. И совсем рядом. Почему-то он его не заметил. Он дошел до флигеля, обернулся. Вот и огни поликлиники. Двор оказался совсем небольшим. Он стоял перед флигелем. Теперь нужно войти… Сразу за флигелем — чугунная ограда, мимо которой он ходил тысячу раз, только с другой стороны. Редкий транспорт за оградой… Да… и иногда голоса прохожих… Все это как будто в другом мире, хотя совсем близко. Он смотрел на другой мир из-за ограды, из темноты. Сюда доносятся только редкие голоса прохожих, редкий шум транспорта, его нечеткие огни. Застывшие огни подальше, с другой стороны улицы.

Он не решался войти. Надо будет рассказывать, что происходит, что его сюда привело. Он боялся. Наконец он ступил через порог. Тесно здесь. Вот дверь, чуть приоткрытая, где принимает психиатр. Стенд, диван, тумбочка в углу. Толстый парень сидит на диване. При виде него он встал и попросил закурить. Как-то слишком близко он подошел. Нездорово пухлое лицо какого-то светлокоричневого цвета, не смуглое, а именно коричневое, давно небритая, но редкая щетина, как у монгола, и ее совсем немного, как будто совсем случайно она проросла кое-где. Он дал ему беломорину, тот кивнул, и, как ему показалось, не один раз, а мгновенно сделал несколько маленьких кивков. И остался стоять, глядя на него — как будто еще чего-то ждал. Стоял все так же близко. Он улыбнулся парню: все нормально, мол. Парень улыбнулся в ответ, но все продолжал стоять, как будто все

вглядываясь в его лицо, как будто все еще чего-то ожидая. Не век же так стоять. Он улыбнулся еще раз, как бы подводя черту, и с недоумением вышел покурить. Курить ему быстро надоело, он выбросил папиросу и вернулся во флигель. Парень сидел в углу дивана, глядя в пол. На него внимания не обратил. Он осторожно глянул в приоткрытую дверь. Старуха сидела спиной к нему, а лицом к нему сидел психиатр и быстро писал. Довольно еще молодой; у него был хмурый, простуженный вид, он был плохо брит, нечесан, раздвоенный жидкий хохол торчал на макушке; воротник свитера из-под белого халата обхватывает шею, подступает прямо под подбородок; психиатр иногда мнет шею под свитером, откашливается, иногда кивает что-то безостановочно говорящей старухе, все так же, не отрывая глаз от своих бумаг, продолжая писать. Он вглядывался во все это и думал, идти, не идти. Он представлял, как сейчас войдет, сядет, как зазвучит его чужой голос, что-то отрывисто, бестолково пытающийся объяснить про тоску, про депрессию… Нет. Он опять вышел покурить у дверей. Смотрел в сторону огней поликлиники. Сейчас пойти туда, и он опять в нормальном, привычном мире. Но если идти к психиатру, то надо сейчас, а то потом надо опять будет заново решаться и на поездку, и на спрашивание, принимает ли психиатр, и на пересечение этого двора, и на такое же опять стояние у флигеля. Уж лучше сейчас. Он стоял и все думал, идти или не идти. Может, хоть таблеток каких даст. А то… Ну сколько можно? Сколько это будет продолжаться? Уже сил никаких нет. И каждый день. А до весны еще так далеко. И темень, темень вокруг. Солнца нет. Так что, идти? Но объяснять… Зашел обратно во флигель. Толстого парня уже не было. Дверь была все так же приоткрыта, он заглянул в нее. Психиатр, все такой же неприветливый, хмурый. Теперь он не писал, а хмуро выслушивал парня, иногда быстро кивая, как будто все, что говорил парень, ему было известно, и он как бы слегка поторапливал его, ждал какого-то наконец итога. Некоторое время он смотрел на них. Тесная комнатенка, тусклый свет. Полки с медицинскими картами. Все тусклое. Не хотелось оказаться там. Он опять вышел из флигеля. Ладно! Он, наконец, разозлился на

себя. Не решаться, так не решаться. Обойдемся как-нибудь и без психиатров. Он быстро пошел по направлению к огням поликлиники.

В университете он шел по коридору между аудиториями, ища свободной. Они все не попадались. Один раз открыл дверь и увидел там Крайслера и еще одного, пожилого, седого, в очках. Они стояли у исписанной доски. Пожилой был высок, статен, он что-то говорил Крайслеру тоном человека, приводящего аргументы. Профессорский, с некоторым барством низкий голос. Крайслер уважительно кивал на каждый аргумент, но чувствовалось, что он думал: «Говори, говори, а уж потом — я скажу». Научная дискуссия. Все это он успел заметить в один миг; пожилой прервался и посмотрел на него, своими холодными очками. Во взгляде больше надменности, чем недовольства. Некая ледяная надменная учтивость — молчаливое приглашение удалиться. Крайслер не обернулся, знал, что сейчас разговор возобновится. Он быстро закрыл дверь и продолжал свой ход по коридору.

«А ведь это был Шульман», — внезапно подумал он. Тот самый Шульман, про которого он читал в книге Крайслера на военной кафедре. Очень похоже - сегодня он видел внизу объявление, что состоится лекция М. А. Шульмана. Сейчас, похоже, она кончилась, и Крайслер остался потолковать со своим патроном. Наверняка это был Шульман. Он видел эту знаменитость.

Он начал думать о Крайслере. Вспомнил, как тот будто с какой-то неловкостью рассказывал о своих занятиях аналитической теорией чисел у Шульмана, как стал здороваться с ним после первого разговора — нечто неслыханное у таких, как Васильев. Васильев и эти фраера с ним… «А озаряет голову безумца…» Но они не были ни гуляками, ни, тем более, праздными. «Гуляка праздный» — они были не достойны так называться.

Вдруг ему стало нестерпимо жаль Крайслера. За то, что он такой талантливый, такой, видимо, хороший парень, за то, что его в жизни ничего, похоже, не интересует, кроме поведения какой-нибудь теоретико-числовой фигни. Он, бездарный, жалел талантливого Крайслера. Он чувствовал, что он в и д е л что-то,

что-то з н а е т . А Крайслер ничего не видел. И никогда не увидит…

Он резко оглянулся и увидел адское мельтешение снежинок вокруг фонаря.

Утро — Божье время. Ночь — час волка. Час человека.

Он медленно бродил вокруг школы, в которой когда-то учился. Иногда присаживался на какую-нибудь скамейку, но скамейки были очень холодные, и он опять вставал и медленно брел. Становилось темно. Школа размывалась, пропадала. Никто не входил и не выходил. Он специально приехал сюда в такое время.

«А ведь здесь все это начиналось. Здесь я впервые увидел ч т о - т о , и отрекся и от своего чистенького детства, и от родителей с их жизнью, и пошел, побрел… Навстречу какому-то чему-то, и меня было бесполезно окликать… И теперь я сижу и смотрю на нее. Она осталась такой, как была. Ей наплевать, она ничего и не знает. Что мне делать с тобой? Что? Колотиться лбом об тебя? Каменная. Молчишь…»

Он возвращался домой из университета. Ярко, раздражающе светило солнце, повсюду стояли лужи. Мокрая, ярко-зеленая прошлогодняя трава резала глаза. Шел он по обыкновению быстро и весь взопрел; он так и ходил в зимнем и даже уши на шапке забывал подвязать. Пока мать не уберет зимнюю одежду и не достанет весеннюю, тогда он наденет то, что висит на вешалке для него.

На душе было уныло, муторно; она была какая-то вялая, как будто перепаренная. И во всем теле тоже какая-то вялость, разбитость. От солнца он, что ли, так раскис? «Может, грипп?» — встревожился он. В последнее время он стал очень бояться гриппа. Волок на себе эту зимнюю шкуру, тащил эту смертельно надоевшую сумку. Еле дошкандыбал до дома.

Дома он лег. Вялость, какая-то мерзкая сонливость не

проходила. Но, слава богу, уже не надо идти, нести. Он попытался заснуть, но не смог. Какой-то очажок в его голове не давал. Он мог только вот так лежать. Была суббота. Полтора дня выходных, с которыми непонятно, что делать. Родители были дома. К матери приехала школьная подруга. Он еле поздоровался, еле улыбнулся, стараясь выглядеть бодрым, подтянутым, *молодым*. Чтобы ни у кого не возникло вопросов, чтобы поменьше внимания сейчас к нему, поменьше… Но мать что-то заметила. «Ты как себя чувствуешь, нормально?» И в глазах тревога, попытка что-то угадать. В последнее время мать тревожилась за него очень быстро, любого повода было достаточно. То, что происходило в нем, невозможно было до конца скрыть. И его похудение… «Да не, — ответил он, — что-то устал». «Так пойди приляг, — просто сказала подруга, знавшая его с детства. — Приляг». «Да, пойду полежу». «А она не сказала, какой я худой», — машинально отметил он, бредя в свою комнату.

И теперь он лежал. Провалиться в сон не удалось. Слабость не проходила. Что-то как будто медленно высасывало из него силы, жизнь. Ныли уши. И вместе со слабостью какая-то безнадежность, беспросветность окутывала, обволакивала его, все тесней, тесней. Тесней, тесней, и слабость, унылость, которую он чувствовал с утра, теперь уже не унылость, а какая-то сосущая душу мука. Он лежал и ощущал эту сосущую муку.

Попробовать встать… Что ж это такое? Он с трудом, в несколько приемов, встал и сквозь слабость, сонливость почувствовал, как страх начинает собираться, сгущаться в нем. А как тогда, когда возвращался вечером с электрички? Может быть *то* — еще не предел? Может быть. Ему вдруг стало холодно, озноб вдруг налетел на него. Надо пойти покурить. Еле переставляя ноги, он пошел к своему мусоропроводу. Страх уже окреп, был вполне определен; он чувствовал, как ему становится все труднее стоять на ногах, и даже держать глаза открытыми становится трудно; он все слабеет, исчезает, растворяется, опрокидывается куда-то. Сейчас он совсем исчезнет… Он вырвал из пачки папиросу, прикурил, укусив мундштук. Он стоял, курил и чувствовал, как у

него сильно-сильно дрожат икры. Садиться он боялся. Как будто он тогда окончательно опрокинется, растворится. И он чувствовал, как смертная мука медленными волнами расходится по телу. Что это? Как будто свет начинает медленно гаснуть. Что это?!! «Может, грипп», — поспешно прошептал он и принялся, как будто креститься, гладить себя по волосам, по шее. Если грипп, то должно побаливать. Всегда при гриппе. В мгновение ока он докурил, выдернул еще одну. Нет. Здесь нельзя оставаться. Он почувствовал, как сердце начинает бухать и набирать обороты. Краем глаза поймал окно, там уже во всех домах горели окна, и в голове мелькнуло, что он, оказывается, долго пролежал. В панике он бросился назад домой. Бросился он мысленно, а на самом деле стал медленно подниматься, держась за перила. Папироса была по-прежнему у него в руке, он не знал, что с ней делать, выкинуть, он закурил ее, добрел до двери, не с папиросой же идти домой, он швырнул ее прямо под ноги, на коврик, растоптал, хабарик на аккуратном коврике, наплевать. Он вошел. Как будто кто-то вдруг включил звук, и он услышал громкие, очень живые голоса, доносящиеся из той комнаты, там все шло своим чередом. И эта еще все сидит как назло! Скривившись, он прошел в свою комнату. Злость, досада придали ему немного крепости на полминуты. Он закрыл глаза и явственно, ярко увидел ряды горящих окон на многоэтажках. Может быть, это последнее, что отпечаталось у него в мозгу. Смертная мука все нарастала, или не мука, а тупая страшная боль. Он весь болел. Душа, тело, не поймешь уже, что болит. Он начал кругами ходить по комнате. Он был очень слаб, непреодолимо хотелось лечь, но он боялся, и все ходил, ходил. Головы было не поднять, он смотрел в пол, у него не было сил держать голову, и страшно было посмотреть куда-то, он боялся как будто увидеть что-то страшное, что-то такое, что он уже не перенесет, самое страшное, что только может быть, и паркет кружился и кружился у него перед глазами. Иногда он прикрывал глаза и с еле слышным стоном гладил себя по ним. Стон, скулеж. Может быть, он надеялся, что это даст облегчение, или уже действительно не мог сдерживаться. А эта все сидит, черт бы ее

побрал!! Его почему-то бесило, что дома есть еще кто-то, посторонний; как будто дом уже не дом.

Вдруг он услышал голоса из прихожей, увидел людей. Эти люди — его отец, мать и подруга матери. Говорили с той интонацией, с которой говорят, когда прощаются. Он понял, что и ему надо попрощаться. Смотреть в глаза, улыбаться, кивать, быть членом общества было до того трудно, что ему казалось, что вот сейчас он потеряет сознание. «Как ты?», — спросила мать. «Нормально», — ответил он. Слава богу, его длительного присутствия не требовалось. Он улыбнулся напоследок гостье, и вот он уже в своей комнате. Сел на кровать и чуть не заплакал от перенесенного напряжения. Некоторое время переводил дух.

А они там долго прощались, долго. Он сидел на кровати и слушал, как они прощаются; это и отвлекало. Говорили, в основном, мать и подруга. Два женских голоса. Иногда отец вставлял что-нибудь, мужским голосом. Он напряженно прислушивался, когда, наконец, лязгнет; откроется дверь. Иногда дверь вроде трогали за ручку, но не открывали. Да сколько ж можно прощаться, сколько можно базарить, мать вашу......?!! Че было из комнаты вылезать тогда?!! Он чувствовал, еще немного, и он выскочит из своей комнаты, вереща на них матюгами. Жилы на висках пульсировали. Наконец, дверь открыли. Шаги, голоса. Он прислушивался, когда дверь захлопнется. Но она не захлопывалась. Услышал очень явственно, как вызвали лифт. Голоса теперь с площадки. Открылась дверь лифта. Ну все… Но нет, дверь лифта захлопнулась, но голоса продолжались. Ясно, держат лифт ногой… Еще полчаса так можно простоять… Но вдруг захлопнулась дверь. Тихо. Материны шаги, она прошла туда, к себе.

…Он ввалился в комнату, где были родители, и на мгновенье его ослепили лица, свет, потому что до этого он смотрел в пол. «Скорую вызовите, скорую!!!» Он услышал свой ужасный, чудовищный голос, задыхающийся, сиплый, хриплый от долгого молчания; и успел подумать, что он как та старуха с порога сортира. Его било, трясло, он весь трясся, весь прыгал, как кукла на шарнирах. Во рту напрочь, без остатка пропала слюна, сердце

колотило, как отбойный молоток; вот, как будто двумя палками ударили по локтям, «электрическая» боль, такая же боль под ложечкой, потом двумя палками по коленям, потом такая же боль по всей поверхности головы, там она чудовищна, невыносима. Голова! С утробным, диким стоном он обхватил, сжал свою голову руками и пошел бродить по комнате по траектории все катящейся и катящейся, не могущей никак закатиться монеты, и все стонал, и стон переходил в рев: «Скорую вызовите… Скорую вызовите…» А потом уже просто «А-а-а», «А-а-а». Что случилось, тебе плохо?! он слышал вопросы матери и отца, видел, что они испугались, но вместе с тем ему казалось, что они не понимают, что им говорят, что происходит, и все молил их «Скорую…! Скорую!», чтобы они перестали, наконец, его мучить. Мать побежала в своих шлепанцах на кухню вызывать скорую, отец что-то говорил ему, кажется, «Успокойся. Ляг, успокойся, сейчас приедет скорая», он слышал отца, но не понимал и все бродил, его швыряло по комнате, и терзал, ломал себе пальцы. Все, что попадалось ему на глаза внушало ему ужас, — оно внезапно обретало чудовищную значительность: ЭТО ПОСЛЕДНЕЕ, ЧТО ОН ВИДИТ! он смотрел в пол, но и в пол смотреть было страшно, ту же чудовищную значительность мгновенно приобретал и тот кусок паркета, на который он смотрел — ВСЕ, ЭТО ПОСЛЕДНИЙ МИГ! и у него чернело в глазах, и как будто резко меркли какие-то лампочки в мозгу, и его несло по комнате, как будто земля горела у него под ногами, он как будто пытался убежать от последнего мига, от последнего места, хотя и то, и другое было невозможно.

«Успокойся, успокойся», — он услышал голос матери и в первый раз увидел ее, ее сухие, горящие глаза. «Сейчас они приедут». Он продолжал ходить по комнате, но уже молча, головы не выпускал, но уже не так сильно сжимал ее. Его уговаривали лечь и успокоиться, но он только молча мотал головой и все ходил, ходил. Скорая сейчас приедет… В голове начало чуть проясняться, пару раз он, на ходу, слабо махнул рукой, успокаивая их, сейчас же вернув руку на голову. Держать, не выпускать голову — так было лучше.

Потом он лежал на диване в родительской комнате, и врач мерил ему давление. Он все еще трясся и дергался, хотя уже не так сильно. Глаза у него были закрыты, свет был резок, неприятен. Но паника, он чувствовал, почти улеглась. Мать рассказывала врачу про его прошлые болезни. «Ну, для вашего возраста, конечно, многовато», — сказал врач, и он понял, что речь идет о давлении. Он приоткрыл на секунду глаза и увидел врача. Врач был старый, дряхлый, лысый, с неаккуратной лысиной, с неаккуратной серо-седой бородой.

Потом ему сделали укол в задницу. Потом он медленно, шмотку за шмоткой, разделся и улегся в свою кровать. «Все нормально», — сказал он отцу и матери и улыбнулся им, не поворачивая головы, чтобы действительно успокоить их. «Сейчас усну». Он чувствовал, что все, миновало. Отец и мать тихо вышли, аккуратно закрыв за собой дверь.

Он еще довольно долго не спал. Укол сладко обволакивал мозги. Какие-то неясные, слабые призраки, тени еще жили в голове. Это было даже приятно…

«Растолчет меня мой гений. Как корабль на мели. Мой гений хочет, чтобы его ОТДАЛИ. Но я не могу его отдать — нечем отдавать. Но гений ничего про это не знает, это не его дело. Его дело требовать от меня, чтобы я ОТДАЛ. Ничего другое его не волнует. В том числе и моя судьба. Никто не виноват, что так получилось».

«Если у меня есть гений, у меня есть и ДОЛГ. ДОЛГ, который я ДОЛЖЕН исполнить. Но исполнить его я не могу. Но это никого не интересует».

«И, кстати, теперь окончательно ясно, чего я до сих пор так боялся. И ясно, от чего увиливал. Вот от этого самого».

«Сгорела жизнь… Я выплюнут, выплеснут… Оказался не нужен…»

«Я не могу жить, я могу только гибнуть. Неужели это и есть моя судьба?»

Сломалось. Хрустнуло наконец. Хрупнуло. И на другой день, когда он сначала вяло проснулся, а потом вяло обрадовался, что не умер, — хотя можно было обрадоваться уже и вчера; когда он отправился на прогулку, медленно шел стариковским шагом, чувствуя в коленях вчерашнюю остаточную боль, он сквозь отупение понимал, что все, сломалось. Его сломили, сломали, повалили. И в его жизни поперла какая-то уже новая полоса.

Электрокардиограмма у него оказалась нормальной. Давление тоже. Он не поленился спросить, могут ли у него лопнуть сосуды в мозгу. Сосуды… Если не склеротизированы… Нет, практически исключено.

Он надеялся, что этот случай был первым и последним, но уже знал, что нет. За ним опять придут, подержат немного, и отпустят. Скорей всего, отпустят. А потом опять.

Единственное, чему он научился, так это не паниковать. Это было очень трудно, когда он чувствовал, что вот оно, приближается, но он и знал, что если дать себе волю, начать метаться, то будет еще хуже, паника будет рождать еще большую панику; и он, обхватив голову, — это уже закрепилось — только еле-еле шагал по комнате (или не по комнате, а там где оказывался, а если люди вокруг, то он выходил, хотя такое случалось редко, он учился на пятом курсе, и в университете почти не показывался, и в других местах редко бывал); он только еле-еле переступал и сразу останавливался, только когда становилось совсем невмоготу, сдвигался с места. Сделать шаг-два — это единственная поблажка, которую можно себе позволить. А так надо терпеть. Терпеть. И главное не думать. Не думать ни о чем. Любая мысль — опасна, непредсказуема. В такие минуты он верил, что мысли могут убить — подумал о чем-то не таком, о чем думать нельзя, — и — бах! тебя нет. Тебе кажется, что вот сейчас, сейчас ты рухнешь без дыхания, но — не пытайся

дергаться, это бесполезно. Не вызывай скорую — она тебе не поможет. Разве что, если бы сразу с дробовиком оттуда приезжали. Да и пока скорая доедет, ты уже сто раз успеешь сдохнуть. И когда она приедет, ты успеешь сдохнуть. И по дороге в больницу ты успеешь сдохнуть. И в больнице ты успеешь сдохнуть. На игле, под капельницей, на операционном столе, да где угодно. Не вызывай скорую. Тем более, тебе ж сказали, что от этого ты не умрешь. Каждый раз ты почти уверен, что тебе пришел конец, но ты же знаешь, что это всего-навсего невроз. Ты же побывал во флигельке, и тебя выслушал тот самый врач, оказавшийся очень добрым, какая-то даже старческая медоточивость неожиданно обнаружилась в нем; он тебя выслушал, и ты в общем-то все про себя узнал и понял, что врач, хотя он еще довольно молод, уже успел повидать сотни, если не больше, таких как ты. Добрый врач прописал тебе и хороших таблеточек. Так что и приступы стали кончаться быстрее. Сразу разломить на несколько крошек, — и под язык, чтоб быстрей подействовало, и стой, жди. Стой, где стоишь. Не рыпайся. А если ты уверен, что сейчас сдохнешь — что ж, на то и невроз.

Один раз во время приступа он оказался у зеркала и испугался того, что увидел там. Он с трудом узнал себя. Просвечивающая бледность — ни кровинки в лице, оттенок зеленоватости — это еще ладно. Но лицо в о б щ е м было не его. У него была довольно большая голова, большой жбан, но сейчас ему казалось, что у него маленькая головенка; и лицо у него было довольно широкое, смолоду он был скорее мордат, но сейчас у него было маленькое узкое личико. А прыщи, вообще-то бледные, теперь так и светятся. А глазки-то, глазки — такие чистые, невинные, никогда он не видел у себя таких. И неожиданно очень небольшой, аккуратненький ротик — какой-то очень чувствительный, выражающий — что-то он такое выражает, вот-вот сейчас станет ясно что. Наверно, таким он будет в гробу. Так жалко себя стало. «Я — невинно убиенный», — подумал он и усмехнулся, сквозь методичное подыхание. Но киснет, растворяется под языком таблетка, сейчас

разойдется по крови, неся благую весть. И тогда наступит кайф, и лицо у него будет опять, как раньше. Худое, бледное, но живое.

И тогда наступит кайф. Такого кайфа — не испытывал никогда. Нет ему названия. Он начинается тогда, когда кончается приступ. Они медленно меняются местами, приступ медленно передает его на руки кайфу. Он бы бессмысленно смеялся, да сил после приступа не было. Он тогда вскользь думал, что самый хороший смех — бессмысленный. Га-га-га — и все. Но смеяться ему хотелось понятно почему, — смерть только что миновала, хотя только что он был в двух шагах от нее. Тогда он усаживался (весь приступ — обязательно на ногах, подальше от смерти, что ли?) или укладывался; все тело было ватное, разбитое, но и это был кайф. Он вытирал, не торопясь, ладони, которые были мокрые, хоть отжимай. Он сидел, лежал. Вот сейчас — первый зевок (во время приступа — никогда, вообще, если зевнул, или даже слегка потянуло на зевоту — значит приступ уже иссякает). А потом — поссать. Обильно, толсто. Потом можно походить, погулять по комнате, наслаждаясь вялостью, ватностью тела. Покури-и-и-и-ть… Потом — чаечку. Сидеть, пить с ложечки, хлюпать. Хехекать. Ниш-а-тяк… И главное — не скучно, не грустно, не тоскливо. Как здорово быть просто животным!

Потом животность проходила. Но кайф оставался. Какие-то мечтания овладевали им… Он брал какую-нибудь книгу из своей коллекции книг по математике, и ложился с ней на свою кровать. Очень не торопясь пролистывал ее, главу за главой. Понимать он ничего не понимал. Даже введение он не понимал, которое мог бы понять. Да разве ж в этом было дело! Формулы, термины, обозначения становились опять прекрасны, манящи, и он сам был таким, каким был когда-то: чистым, юным, он тыкал в книжку пальчик, как когда-то давно… Гармония, нигде не трет, не жмет. Как яблочко. Или наоборот, а по сути то же самое: он представлял себя «молодым ученым», овладевающим знаниями, штурмующим научные вершины; он обязательно выучит что надо, он станет математиком, вернется на свой настоящий путь! и все пойдет так, как и должно

идти. Все будет хорошо… Это была игра, но он даже и не думал, игра это или нет. Это была эйфория, усиленная действием таблеточек. На то и эйфория, чтобы не думать, что будет хотя бы через сутки. Он не вспоминал, что уже пятый курс подходит к концу, а он ничего не знает и не умеет, что он никак, никак уже не сможет вернуться назад.

Или податься куда-нибудь в дальние страны? Там он начнет новую, чистую, ЧИСТУЮ жизнь… Помесь Майн-Рида с Толстым. «Он работает у хозяина в огороде, и учит детей, и ходит за больными…»

Но нет, это уж совсем редко, но математиком-то он еще может стать! сколько ему лет-то всего, двадцать два, подумаешь! В конце концов он кое-что все-таки знает! И отец поможет, нет, что ли?! Он у себя там кое-что значит! Это же так просто! Порой целых три дня он занимался чтением начала первой главы какой-нибудь из книг. Название которой в этот момент казалось ему наиболее соблазнительным. У психиатров есть термин: иллюзия помилования. Это когда человеку бреют шею, ведут на гильотину, а он все это время думает, что это его ведут освобождать. Радуется, дурачочек, смеется.

Вообще-то все это было вполне реальным. Да, если захотеть, это было возможно - жизнь действительно не кончена в двадцать два года. Но не так, не так собираются стать математиками после окончания математического факультета. Неустанный, до полного отказа мозгов труд изо дня в день; административные заботы, тревоги; готовность вынести все стиснув зубы — думал ли разве он о таком? Да нет, конечно! И близко нет! Он думал о чистоте, о гармонии, о счастье… Что-то беленькое, розовенькое, воздушное, неземное… Пока приступ прошел совсем недавно, а таблетка во всю действует.

Примиренность. Примиренность с жизнью — вот что было самым главным. Не спорь с ней, не перечь, не доставай, — и ты будешь сыном ее, а не пасынком. Не можешь полюбить жизнь снаружи, так полюби ее изнутри, смирись, не требуй чего-то от нее, не требуй; не требуй того, чего она не может дать. Смирись, размягчись,

впусти в себя БЛАГО ЖИЗНИ, ведь ты чувствуешь, что оно существует. Принимай с благодарностью жизнь, за то, что она такая, какая хотя бы есть. Не претендуй, не требуй, не ерепенься — живи п р о с т о т а к . Вмести жизнь своей душой, мудростью своей души. А этот твой — этот самый гений, есть там он у тебя или нет, да какая разница, да разве в этом дело?! Разве человек для того рожден, чтобы быть слесарем, математиком, маршалом, гением? Он — Человек. А то все — чушь, блажь, суета, неужели ты не чувствуешь этого? Мерзкие и пошлые соблазны…

Но ДОЛГ, страшный и ненавистный…

Он лежал и отдыхал, и вдыхал жизнь п р о с т о т а к . Н и д л я ч е г о .

Когда ты только что избежал смерти, ты становишься очень нетребователен к жизни: любая жизнь тебя устраивает. Это уже потом ты опять начинаешь качать права: хочу того, хочу сего. Почему не то, почему не се.

Он узнал, что если во рту нет слюней, то говорить крайне затруднительно. Изо рта выходит что-то совершенно неописуемое. Сплошной дефект речи. Хотя разобрать все-таки можно.

Он стал бояться замкнутых пространств. В общем-то, особенно часто сталкиваться с ними ему не приходилось, но от лифта он отказался. Сама мысль, что он может там застрять, бросала его в ужас - он был уверен, что из лифта его извлекут уже в виде покойника. Ходить пешком полезно для здоровья. Но он начал еще и проверять входную дверь, не заклинило ли. Их дверь была устроена так, что совершенно невозможно было представить, чтобы ее могло заклинить. Но он по нескольку раз на дню открывал дверь и смотрел на лестницу, на свободу. Удостоверивался, что выход есть.

Выйти из дома без таблеток — это было немыслимо. Таблетки он носил в нагрудном кармане рубашки. И если оказывался вне дома, постоянно похлопывал по нагрудному карману, точнее,

пролазил рукой сквозь все верхние одежды и там нащупывал упаковку с таблетками, долго мял ее там, заставлял себя поверить, что действительно не забыл. Иногда даже извлекал упаковку оттуда, чтобы проверить, а не кончились ли таблетки? Мало ли что. А то без таблеток… на улице… далеко от дома… каюк. Один раз он таки вышел из дома с пустой упаковкой. Хватился, — а таблеток-то в упаковке и нет! Приступ возник мгновенно. Вот так оно и случается… Вот так оно и бывает… И он домой — шел-шел, шел-шел, шел-шел, шел-шел, шел-шел, шел-шел, шел-шел, шел-шел. И дошел, смотри-ка ты! Бабахнул двойную дозу. И стоял ждал, потрясенный, безумный, обожженный. Потрясенный предательством.

Дойти — вот это было очень важно. Если приступ долбанет прямо на улице, — а сам страх перед ним мог его вызвать, и не только он; любая мелочь, крохотное воспоминаньице, любая вещь — куст или газетный киоск — могли вдруг вызвать страх, сначала смутный, беспредметный, но очень быстро обретающий конкретность — страх перед приступом, который, в свою очередь, моментально вызывал сам приступ; если он долбанет где угодно вне дома, — главное успеть, успеть дойти до него. Не свалиться по дороге, достигнуть, д о й т и . Таблетки под языком, но. Д о й т и . У с п е т ь . Дома действительно как будто помогали и стены. Его р о д н о й д о м внушал еще какое-то свое успокоение. Его было, конечно, недостаточно, но лучше с ним, чем без него. И даже когда он с родителями поехал в какие-то гости и там вышел прогуляться, и его долбанул приступ, он шел и шел назад, в ту квартиру, желая только одного — дойти до нее, до этой квартиры, которую видел в первый раз, и в которой будет пребывать всего несколько часов. На тот раз и это было какое-то подобие дома, куда можно вернуться, куда можно стремиться, идти и все-таки дойти. Какое-то подобие, какой-то пусть самый слабый образ дома всегда есть. Какая-то точка.

Дойти, доплыть, доползти…

Родители уже, конечно, вовсю знали, что с ним творится. Предлагали консультации различных светил, требовавших большого блата, предлагали лечь в такую же блатную клинику. Он тупо отказывался. Тупо и непреклонно, без всякой для них надежды быть уговоренным. Он и так знал, откуда это все. Никакими «консультациями» тут не поможешь. А таблетками добрейший врач во флигельке всегда безотказно обеспечит.

Он много раз всерьез думал, что эти таблетки — самое гуманное изобретение человечества. Вот атомные бомбы — это говно, а таблетки… В них действительно столько милосердия. Без всяких попыток исправить, направить, потребовать взамен. Чистая жалость. Чего уж с тобой делать… О-хо-хо…

Полюби жизнь. Полюби жизнь, мать твою! а то она так навернет по хребтине — хрустнет только.

Выпученные глаза. Тоненькая струйка крови из угла рта.

Как это все переживают родители, он не думал. Вернее, он утешал мать, а в последнее время и отца, что все пройдет, все наладится. Это временное. Возрастное. А как дальше жить — ну, распределят куда-нибудь, пойду работать. Все нормально.

Но по-настоящему он не замечал родителей. Разве что чуть больше, чем остальных людей. Остальные были тенями. Иногда к нему заходили друзья, Друг, Второй Друг. Он разговаривал с ними как ни в чем не бывало. Они ничего и не знали про него. А ему и в голову не приходило им что-то рассказывать. Хотя манера общения оставалась прежней. Но это была только манера, за ней ничего не стояло. И давно уже.

Но он не имел ни малейшего понятия, как жить дальше. Даже просто — как жить. Ему было нечего хотеть. Не было для него ничего такого — «хочется, — потому что хочется»; когда ссать тебе охота, ты ж не спрашиваешь: а зачем это? а нужно ли это?

Ничего такого не было. Он просто болтался в этом мире, как экскременты в проруби. И только когда наступал приступ, в жизни появлялась ясная, не требующая никакого обоснования цель — пережить его. И после него даже такая жизнь казалась счастьем.

Какие-то мысли варились потихоньку в голове. Он додумался, что на самом деле хочет одного — умереть. И это собственное желание смерти казалось ему едва ли не таким же страшным, как сама смерть. Все-таки не мог он до конца поверить, что в жизни, которую он почему-то привык считать прекрасной и удивительной, именно ему нет места. И когда приходил приступ, и он смертельно трусил, что сейчас помрет, — в этом было и некое утешение: раз он так боится смерти, то все-таки не хочет умирать. Подтверждение желания все-таки жить. Вот еще одно, чем был хорош приступ.

А на самоубийство, как оно ни страшно, при длительной моральной подготовке все-таки можно решиться. Страшно, страшно, — а решишься. Год пройдет, два, пять. Он осознал это, и это тоже было страшно, — что это хоть и трудно, — а все-таки легко.

Подыхание каждый день, а то и по два раза на дню, — а потом воскрешение, — было единственным содержанием, единственным смыслом, единственной целью его жизни.

Забавно, но чем более незачем ему становилось жить, тем сильнее он трясся за свою жизнь. Он стал страшно труслив. Заболит что-нибудь — ой, а не рак ли это?! А грипп?! Ужаснейшая, чудовищная болезнь! Постоянно прислушивался к себе, принюхивался. Боялся.

А чего он все-таки больше боялся: умереть самому, или что гений умрет? Невозможно разделить.

Он стал слезлив. У них было четыре пластинки Вивальди — он их часто теперь слушал. И прямо плакал. Так щемило душу от них. И когда вспоминал их — крупные слезы наворачивались на глаза. Плакса.

Приступ, приди! Освежи меня, укрепи! Чтобы я хоть за что-то цеплялся, за что-то боялся, хотя бы чего-то страстно желал, хотя бы на время! Он и сам стал бессознательно провоцировать приступы, чтобы, пройдя сквозь смертную муку, на какое-то время обрести наслаждение. Ел таблетки и профилактически, — но это была, пожалуй, не главная причина, а главная — покайфовать. Что за прелесть все-таки были эти таблеточки! Ел он их больше и больше. А потом наступила необходимость есть их каждые пять часов, — а то дискомфорт, беспокойство, тревога. Ну и естественно приступ. Он ставил будильник на восемь часов — принял дозу, и опять спать. А то встанешь уже готовый — судорожно крошить таблетки, судорожно совать их под язык, неистово сосать их, потом ждать, напрягая всю волю, пока отпустит.

Жизнь таблеточного животного. Трусливого, зашуганного, дрожащего. Жизнь не то что на коленях, а плашмя, мордой в грязи. Мерзко, но… Только таблеток, таблеток дайте! Чтобы я, похлопав себя по нагрудному карману рубашки, мог всегда убедиться, что они со мной. Все продаст, все предаст — они не предадут.

Но какая все-таки боль. Какая все-таки боль наступала порой. Он в е с ь болел. Он болел, как болит ампутированная нога. Особенно по утрам, реже днем. Первая папироса оставалась первой папиросой, от нее было худо и худо. Мучительные, режущие провалы в былую жизнь, лоскутья воспоминаний. Они говорили ему: когда-то я жил, а теперь умер. Когда-то и я жил… А теперь я труп. И плачу, плачу над тем, погибшим, утерянным безвозвратно…

Труп, трясущийся за свою жизнь.

Да, быть «таким как все» — в этом нет ничего постыдного. Удел Человеческий есть Удел Человеческий. Нет ничего более серьезного и более высокого в этом мире. Здесь все равны — и Лев

Толстой, и «простой инженеришка». Но… Но неужели это и все?

Как легко быть счастливым! Но как легко проспать, проворонить жизнь! Прикрыл только на секунду глаза — и нет ее! И когда тебя спросят в конце жизни: «А что ты делал?», ты ответишь: «Я? Я на секунду прикрыл глаза…»

Но счастливым можно быть только во сне. Не осознавая себя. И побыстрее дойти до могилы. Побыстрее только пожалуйста, побыстрее.

А душа сочится… Сочится… Когда она не витает в гнилостно-сладковатых таблеточных грезах…

Он стал много слушать радио. Как когда-то бабушка. Любил слушать песни 50-60-х годов, такие простые и хорошие. Узнал много нового из самых разных сфер человеческой деятельности.

А то что, можешь попробовать стать кем-то другим, если ты не устраиваешь себя таким, какой ты есть. Возьми какой-то положительный пример, или даже о б р а з , и попытайся соответствовать ему. И ты увидишь, насколько это легко. Насколько легко и з м е н и т ь с я .

«Измениться для меня и значит заснуть».

«Но, может, уже и давно пора, а? Может, уже хватит? Ведь все уже ясно. Ты только все мусолишь, мусолишь. Ты вообще как, жить хочешь, нет? Вопрос стоит именно так: либо ты живешь, либо ты подыхаешь. Самое время усвоить это. Немножко даже поздно».

«Да, я все понимаю… Но как же мне бросить его? Бросить, предать… Ведь я единственный человек, который знает о нем. А сам себе я не нужен. Я — только хранилище, вместилище его. И пока я жив, жив и он, хотя «пользы» от этого никакой. Я могу только длить его дни, пока он меня не убьет. Смешно, но он не знает, что тогда погибнет и сам».

«Да, Джим Моррисон. Я побил тебя. У меня нет ни орущей толпы на стадионах, ни газет, ни громкого имени, ни прекрасной гибели. Герой жалок, труслив, обречен сгинуть без следа. Он не бесится на сцене, не устраивает оргий. Он *ничего не делает*. Он только гниет и смердит. Он боится, забившись в угол. И ждет, пока сдохнет. А рано или поздно он сдохнет.

И это и есть высший фанатизм. Вот — такой. Фанатизм в чистом виде. Настоящий, бессмысленный. Без всякой примеси красивости. Наоборот — все мерзко, гадко, бесславно. Но здесь нет, наконец, никакой красивости. Я полностью изгнал ее. Я ненавижу — красивость. Потому что она — врет.

А так, как я… Не всходить гордо на Голгофу, а увиливать от нее всеми силами, визжать, верещать, размазывать сопли — вот это мне по душе. Тем более я сам туда иду, хоть и не связанный, не привязанный. Уродливый, жалкий, да и Голгофы-то той никто не видит. Вот это хорошо. Это мне *действительно* по душе».

«Жизни я говорю — НЕТ, НЕТ, НЕТ. Не хочешь быть такой, какой я тебя хочу, — так провались! Я лучше сдохну, чем буду говорить, что ты хорошая, когда я вижу, какая ты на самом деле. Гнуть спину перед тобой не буду, — это ты передо мной будешь! Что ты плющишь меня неврозом, заставляешь быть таблеточным животным, ссать в штаны от страха, — так думаешь, что согнула меня?! Н-е-е-е-т. Я все равно харкну тебе в морду. Не признаю тебя, не покорюсь. И ты знаешь, что это — правда».

«А ведь я любил жизнь. Как я ее любил!»

«Но именно поэтому я ее так сейчас ненавижу. Потому что когда-то слишком сильно любил».

«Мое подыхание, мое гниение — это и есть моя победа над тобой. Это говорю я, бездарный гений и трусливый герой».

Состоялась защита диплома. Хорошо все-таки, что папа у него силен в математике. Нет, он и сам работал — процентов двадцать сделал он.

Но как кошмарно прошла защита! Наконец-то его выволокли на свет божий, тварь дрожащую. Крыса посреди комнаты. Он, разумеется, чуть было не опоздал, прибежал как раз во время, весь взмыленный. И — сразу входить в помещение, становиться у доски, а на тебя смотрит целая, можно сказать, толпа народу. Такие взрослые дяди. Хоть заслоняться от них ладонями, как от прожекторов. Он не знал, как начать. Молниеносно понял, что слюни во рту пропали начисто.

Он стоял и молчал. Жуть нарастала. До него стало доходить, что он никогда не начнет. Не начнет, так и будет стоять. Он не знал, что ему делать. Вдруг заговорил его научный руководитель, и он почти сразу же заговорил ему вслед, не разобрав даже, что тот-то сказал. Он говорил мертвым голосом, каким-то серым, как вареное старое мясо. Низким, тихим, слабым. Еще и без слюней, какая-то каша изо рта. Его часто переспрашивали, тогда он повторял; как ни странно, более крепким голосом. Голова страшно вибрировала, ноги дрожали. Он боялся рухнуть в обморок, не кончив. Мордой об передний стол как раз достанешь… Скандалище! Главное не думать, а говорить. Надо было больше съесть таблеток.

Потом стали задавать вопросы. Тут он опять впал в панику. Так разволновался, что не мог отвечать, какое-то тык, мык, незаметно для себя помогал себе руками, со стороны, наверно, походило на взволнованного глухонемого. За него начал отвечать научный руководитель, иногда бросая на него опасливые взгляды — потому что иногда он пытался научному руководителю помогать; видно было, что научный руководитель искренне ценит представленную работу и искренне хочет убедить присутствующих, что она хороша. Он был всей душой, всеми силами души благодарен своему покровителю, спасителю, спасающего его от этих страшных людей!

Он плохо помнил, как все это кончилось, хотя и длилось не так долго. С сумасшедшей радостью он понял, что ему можно идти.

Потом он узнал, что ему было поставлено пять. Странно, но что-то в его глубине обрадовалось. Старый, еще не стершийся рефлекс…

Кажется, еще какие-то разговоры насчет того, чтобы сфотографироваться вместе с группой. Как-то это шло мимо него. Кажется, ему и не предлагали. Кажется, он даже почувствовал себя слегка уязвленным, несмотря на то, что мало чего соображал, стоял в углу, сосал таблетки. Опять странно. Старый, еще не…

Неважно. Выдача дипломов — такого-то. Он получил высшее образование.

«Да. Теперь я все знаю. Я знаю, что я не способен предать свой гений, или «чувство собственной ценности», или еще чего там, — я не хочу в этом разбираться. Я знаю, о чем говорю. Да, я знаю, что мог бы быть приличным математиком, инженером, кем угодно, и жить нормальной человеческой жизнью, и в этом бы не было ничего постыдного. Да, все будет хорошо, я успокоюсь, и невроз пройдет, но для меня это будет означать одно — предательство. Я не имею право быть инженером, когда я знаю, что я — вместилище гения. «Смирись, гордый человек…» Смирись… Для того, чтобы смириться, я должен смирить что-то в себе. А оно мое, чтобы я его смирял?!! Я не имею пр-рава его смирять! Да, от того, что я медленно гнию, подыхаю по три раза на дню, никому нет пользы, и гению в том числе, но только так я чувствую, что не предаю его, я должен все время быть рядом с ним, не отходить от него, не спать, не смыкая глаз поддерживать этот огонь, да, никому это не нужно, и гению не нужно, но МНЕ — это нужно. Я буду медленно гнить, корчиться и подыхать во славу его. Это мой ДОЛГ, слышите, ДОЛГ! Я знаю, что никакой славы, никакого признания у меня не будет, но есть все-таки, есть для меня что-то поважней славы! Мой гений свят, слышите СВЯТ, или там, АБСОЛЮТЕН для меня, он не нуждается ни в чьем признании! Пусть для него я единственный зритель и ценитель, но пусть лучше так, чем просто выбросить его, а самому жить, жрать и срать, делая вид, что ничего не было. Пусть лучше сдохнуть вместе с

ним, только так я его не предам, только это я могу для него сделать! Сдохнуть вместе с ним — только это я могу для него сделать, и я сдохну вместе с ним. Я не согласен, НЕ СОГЛАСЕН пережить его. И пусть нет никаких доказательств, что у меня есть гений, — я не нуждаюсь ни в каких доказательствах. И пусть я эгоцентричен, эгоистичен, труслив, слаб, жалок, но свой главный долг я выполню до конца, а на остальное мне наплевать. Никаких наград мне за это не будет — обойдусь и без них. Долг есть долг — его не обсуждают, вокруг него не препираются, а просто берут и выполняют, вот и все. А цена, которую тебе придется платить, — сколько надо, столько и заплатишь. Здесь не торгуются, не на базаре. И да, я знаю, что я такое, я слаб, не переношу страданий, и если бы я мог, я бы отдал все на свете, я бы отрекся от своего гения, я бы убежал. Но я НЕ МОГУ. Да, я слабак и трус, но я НЕ МОГУ. И я знаю, что это не поза, а так оно и есть. Любой герой хоть один раз на тысячу, да струсит, может струсить, я же — НИКОГДА. Я могу сто раз убежать, но все равно я возвращусь на прежнее место, — а это значит, что я и не убегал. И сдохну я как викинг — с мечом в руке. Разве этого мало? Разве есть в мире что-то более высокое, чем такая смерть? Трусливый, сопливый викинг, — но викинг! И моя голова свободна, — МНОЮ движет. Не Я, слава Богу, движу. И что бы я ни думал, от чего бы ни отрекался под неврозной пыткой, — рано или поздно я все равно выкрикну: «А все-таки она вертится!»

Он присел на камень и начал читать:

Где горизонта борозда?!
Все линии
потеряны.
Скажи,
которая звезда
и где
глаза пантерины?

За день он устал. Жарко. В этих местах жара стоит круглые сутки, есть только коротенькое время утром, когда вдруг почувствуешь некое легкое дуновение, некий призрак прохлады. Но скоро он исчезает, и опять жара. Пока дойдешь до места, — уже весь мокрый, хотя ходу — десять минут.

Темно. Только сзади неподалеку немного огней, там, где они живут, а так хоть глаз коли. Океана уже не видать, только слышно его мерное буханье. Он посмотрел на небо.

Не счел бы
лучший казначей
звезды
тропических ночей,
настолько
ночи августа
звездой набиты
нагусто.

Он слегка задохнулся и достал сигарету. Курил, откинув голову, смотрел на небо. Здесь есть и Южный Крест, который ему показали знающие люди.

Снег лупит по стеклам, а он лежит, кутается в одеяло, зябнет, смотрит на окна, абсолютно черные и еще не скоро они начнут синеть. Адски пылает люстра, ей помогает ночник; он включил весь свет, который мог. Безбрежный мрак, холод за окном, а он один в своей маленькой комнатке, и ему страшно, страшно.

Они вели его по коридору, один справа, другой слева, но вдруг закат перегородил ему дорогу, огромный, багровый, застилающий собой все, он обвалился, рухнул на закат, как на стог сена, утопил в нем руки, уронил на него лицо. «Ты чего?» «А?!!» Он посмотрел под ноги и увидел на полу рассыпанные

бумаги. Ослепленный, оглушенный, он собирал бумаги несвоими руками, и все никак их было не собрать…

…Их много, и бежать уже поздно, да и некуда, вожак бросается, валит на спину, вгрызается в горло, его рычание переходит в урчание, не пошевелиться, не двинуть ни рукой, ни ногой, их терзают остальные, скорее бы все это кончилось…

Не бойся. Не бойся, сожмись в один кулак, это произойдет очень быстро, и больше некому будет скулить и бояться. Это как блевать, ты же знаешь.

Месяц плывет, тих и спокоен…

Вставай, сука! На кого ты стал похож, посмотри на себя! Вставай, тварь, мразь! Ну!!!

Не спи никогда.

Фотография. На ней все люди, когда-либо жившие; смотрят, как с прощального школьного снимка. Людей больше нет, они сгинули навсегда. Осиротевший без людей Бог сидит, сгорбившись, закрыв лицо ладонями, и роняет слезы сквозь ладони. Ему будет сильно не хватать нас, оболтусов. Осиротевший, плачущий Бог — это и есть вечность. Навсегда, во веки веков.

К берегу залива прибило полосу ряски, почти малахитовую. И три камня недалеко от берега, и на каждом камне по чайке. А на другой день, при другом освещении, ряска уже не казалось малахитовой.

А сегодня на закате, в заливе был разлит лак для ногтей. Млечно-розовый цвет. Залив был очень спокоен, чуть-чуть плескался. Камыш почти неподвижен. Ранняя осень. Никого нет.

А родители? Хоть раз за это время я подумал о них? Они ведь

тоже живые. Нет. Тешил собственную дурь. И они уже пьют таблетки, капли. Мать пьет те же таблетки, что и я. Отец пьет другие. Я знаю — это антидепрессанты. Где мой отец, жизнелюбивый, открытый? Мрачный, тяжелый субъект. Особенно страшно смотреть, как он поднимается по лестнице. Как старик. И гости все куда-то подевались… Мне-то все равно не поможешь, но хотя бы им-то я мог бы помочь? Или попытаться помочь? Я даже не думал об этом. Сжевал я их. Себя-то хоть понятно за что, но их-то за что?

Ну что ж… Достоевский, Ницше создавали опасные утопии, а я? «Я всего лишь убил слепого, чтобы воспользоваться его медяками…»

Раньше я презирал очень многих. Теперь нет. Пусть живут, пока им живется, пусть спасаются, как могут, тешатся, чем могут. Я понял, насколько легко пропасть, сгинуть в этой жизни. Дунет, — и нет тебя. И я не могу их презирать. Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не сдохло.

Кстати, а что это было — самое страшное, о чем я боялся подумать во время приступа? Вот что — осознание того, что ты обречен, приговорен уже с самого момента твоего рождения, и то, что тебе суждено — то суждено, и ничего с этим поделать нельзя, а суждена тебе страшная, кошмарная жизнь и такая же смерть. Предельно ясное, непоколебимое осознание этого. Вдруг увидеть свою судьбу, свою участь — и понять, что это действительно т в о я участь. Эта участь — т в о я. Вот это и было самое страшное.

Чувствуешь, что жить в этом мире невозможно. Ты изгнан из него, прекрасного, с самого момента твоего рождения. И когда ты это чувствуешь, ты не видишь ничего, кроме своих страданий. Ничего не было в жизни кроме них, и ничего не будет, кроме них. За что? Ни за что. Хоть кому-то, чему-то это поможет? Нет, никому, ничему. Есть в них хоть какой-то смысл? Никакого. И тогда тебе ничего не остается, как наделить само страдание

высшим смыслом. Потому что если ты и можешь выносит страдания, ты не можешь выносить б е с с м ы с л е н н ы е страдания.

Страшно умереть, ПРОКЛЯВ жизнь.

Неужели в ней все так просто: ТЕРПИ, ТЕРПИ, ТЕРПИ, ТЕРПИ. Сильный может вытерпеть, слабый – нет. Вот и вся премудрость.

Раньше я больше всего боялся умереть во сне. Потому что я был маленький. А теперь я только и мечтаю, что о таком конце. Значит, теперь я стал большой.

Гений, никем не признанный. Даже самим собой.

Страшно – не бессмысленно жить, но бессмысленно умереть. Впрочем, это одно и то же.

А что я знаю? Страх и страдание. Страх, что будет еще хуже. Нет меры страданию. Завтра может быть хуже, чем сегодня, а послезавтра хуже, чем завтра. И так далее. И только смерть, как избавление… Жизни я не верю и боюсь ее. Я боюсь и тайно ненавижу этот мир. Но если ненавидеть мир, то что же тогда любить? Ведь в с е из него. А я говорю жизни – НЕТ, НЕТ, НЕТ, НЕТ. И сам же ужасаюсь этому.

Нормальная ч е л о в е ч е с к а я ж и з н ь. Как меня влечет порой туда! Я ведь вижу, какое д о б р о, какая мудрость, глубина сокрыта в ней. Не мной она началась, не мной и закончится. Раньше я не понимал этого. Теперь понял.

А мой гений? От него отказаться я не имею права. Это мой долг.

Значит, я состою из двух половин, одинаково н е о б х о д и м ы х, одинаково с в я щ е н н ы х для меня. И ради выживания одной половины, другая половина должна погибнуть. А гибель пол-Я – это все равно что гибель Я.

Раньше я думал, что для человека всегда есть выход. Теперь

вижу, что нет, не всегда. Я не вижу такого выхода, который я считал бы выходом.

Во всяком случае, я теперь все про себя знаю. И загадка, которая была задана мне при моем рождении, наконец мной разгадана.

ЭПИЛОГ

Он вышел на балкон. Было уже холодно, но курить он пока еще выходил сюда. Завтра ему исполнится двадцать восемь лет…

Наступили трудные времена. Денег не хватало. Он работал по распределению, потом с их конторой что-то случилось, и он уже там не работал. Пытался найти работу «по специальности», но это стало не так-то просто, особенно ему, у которого толком и не было никакой специальности. Один раз все-таки нашел. Точнее ему, с превеликими трудами, нашли. Но он не выдержал там. Он уставал после двух-трех часов работы, напряжение в голове делалось нестерпимым, и тогда приходилось сосать таблетки, с которых он и так не слезал. Больше он не работал. Он понимал, что сидит на шее у тех, кому самим нечего жрать, но понимал и то, что работать не сможет. Отец и мать это тоже понимали… Но он все-таки пытался как-то зарабатывать. Продавал газеты, разносил всякую ерунду по ларькам, сидел на телефоне. Долго не выдерживал он и там. Потом «отдыхал». Потом опять брался за что-нибудь такое…

Когда-то он бы не поверил, что так может долго продолжаться. Но смогло. И продолжается до сих пор.